

МИХАИЛ ЯКОБСОН • КАРЗУБЫЙ

МИХАИЛ ЯКОБСОН

КАРЗУБЫЙ

ЛАГЕРНАЯ ПОВЕСТЬ





МИХАИЛ ЯКОВСОН

КАРЗУБЫЙ

Лагерная повесть

Издательство
"Третья волна"

Париж — Нью-Йорк
1983

Редактор — Александр Глезер
Корректор — Алина Монахова
Художник — Григорий Капелян

© Все права на русскоязычные издания сохраняются за издательством "Третья волна".

© Все права на иностранные издания принадлежат автору.

Все права на распространение этой книги имеет Russica Book & Art Shop, 799 Broadway, New York, NY 10003.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОБЫСК

В этот день рабочие-заключенные дорожной бригады получили несколько буханок хлеба от своего освободившегося бригадника. При дележе возникла трудность. Один из рабочих заболел и остался в зоне. Как делить? Только на тех, кто на работе, или на оставшегося в зоне тоже? Хлеб был вольный, серого цвета. В лагере давали только черный. Если его найдут при обыске в зону, возникнет вопрос — как эки его получили.

То, что серый хлеб находился у заключенных, значило, что эки имели связи с вольными. А такие связи были за-прещены. Вольные могли передать экам не только продукты, но и наркотики, непроцензурованные письма, компасы и карты для побегов и даже оружие.

Подозрение в передаче хлеба вернее всего пало бы на освободившегося. Эки опасались, что администрация воспользуется случаем и намотает ему новый срок за связь с заключенными. Начальство второй месяц не получало премиальных за невыполнение лагерем производственного плана. Каждый рабочий-специалист был на счету. А освободившийся был отличный вальщик.

Осторожным заключенным казалось разумней съесть этот хлеб прямо на работе. С ними спорил Шустряк — бойкий двадцатилетний парень. Это его друг заболел. Если хлеб попадет в зону, то ему перепадет дополнительный кусок: друг поделится с ним. Опасения бригадников, что хлеб об-

наружат при обыске, Шустряк отмел, заявив, что он сам понесет хлеб и что у него на крюку один надзиратель, который пропустит его с хлебом. Заключение не верили, что у Шустряка были знакомые среди надзора, но возражать ему не решались. Шустряк мог бы обвинить их в желании зажать хлеб больного человека. Так пришлось согласиться с его предложением. И понес Шустряк долю своего друга в лагерь.

У ворот заключенные вытянулись в линию для обыска к надзирателю. По обе стороны от них расположились конвойные солдаты, ожидая запуска заключенных в зону. Привычные движения надзирателя вдоль рук, под мышками, затем вдоль туловища и ног. Когда подошел Шустряк, скользящая вниз рука надзирателя задержалась у пояса. Шустряк сгорел. Хлеб был нелагерный.

Надзирателю надо было передать его в оперативный отдел и приложить рапорт с описанием, как и у кого этот хлеб был найден. Но надзиратель неграмотно писал. Уже несколько раз офицеры смеялись над ним за ошибки в донесениях, приговаривая, что к началу следующего года они подарят ему букварь и пошлют в первый класс. И надзирателю не хотелось снова переживать насмешки офицеров.

”Да и заключенного жалко, — тут же подумал надзиратель. — В изолятор его посадят, допросами заматают, кто хлеб передал. Значит, всем будет хорошо, если это дело замять. Но куда хлеб? Ведь не отдавать же его? — Выбросить!” И хлеб полетел, переворачиваясь темным комком, на серую дорогу, провожаемый голодными глазами заключенных.

До этого момента Шустряк подавленно молчал. Не столько из страха перед изолятором, сколько из стыда перед бригадниками. Наговорил им с три короба, какой он ловкий, как он надзирателя на крюк зацепил. И вдруг в один момент стало ясно, что он врал. Теперь они будут

открыто говорить, почему Шустряк так рьяно настаивал, что он понесет хлеб в зону. Жадный фраерюга хотел себе большей доли.

Неожиданный поступок надзирателя вывел его из состояния подавленности. Он почувствовал себя оскорбленным. Надзиратель выбросил хлеб, из-за которого Шустряк столько врал и ловчил. Гнев на надзирателя помогал Шустряку забыть горечь унижения, и он охотно отдавался гневу.

— Шакал, — закричал он, — ты чего хлебом бросаешься! Я его голодному человеку нес. Ты вон, кишка позорная, какой мозоль на брюхе отрастил, а мы здесь с голоду загигаемся.

Заключенным было досадно, что хлеб пропал, и вначале они были злы на Шустряка. Теперь же они, как и Шустряк, разозлились на надзирателя за выброшенный хлеб и одобрительно посмеивались, слушая шустряковские выкрики. И Шустряк, думая, что смешки эжков свидетельствуют о восстановлении его авторитета, распалялся все больше и больше. Он уже ругал не только надзирателя, но и всю систему лагерей, где, как он кричал, жирные и трусливые палачи, спрятавшись за автоматы солдат, обедают и эксплуатируют умирающих от голода людей. Затем он переключился на всю страну, в которой, по его словам, группа бандитов захватила власть и вот уже более сорока лет терзает беспомощное население.

— Дали бы мне танк! Я бы вас танком, танком! Гусеницами — козлов вонючих, передерастов, в рот драных!

Надзиратель молчал, давая злобу. Схватить бы этого Шустряка, бросить бы его в изолятор. Но ведь тогда опер узнает о хлебе. "Выбрасывать нельзя было, — сетовал надзиратель. — Вот так и делай людям добро. Попробуй только

быть с заключенными по-человечески. Они сразу на шею сядут. А облагевший ээк хуже бешеной собаки”.

И Шустряк, как бы в подтверждение этой поговорки, чувствуя слабинку надзирателя, совсем разошелся. Он ругался лагерной руганью, состоящей из названий половых актов в самых ранообразных формах, и иллюстрировал свои слова движениями рук и бедер.

Дело, вероятно, на том бы и кончилось. Шустряк бы безнаказанно ушел в зону, гордый, что он не дал спуску этому тухлому менту, что он высказал то, что порой мечтали сказать многие ээки. А надзиратель пошел бы в надзирательскую комнату на вахту, намечая придраться к Шустряку по другому поводу и закатать его на пятнадцать суток в изолятор. Но получилось по-другому.

Конвойным солдатам было непонятно, почему надзиратель не наказал Шустряка. Но привыкшие, что ругань надзора с ээками не их дело, они молчали. Лишь когда разгорячившийся Шустряк прокричал, что если бы у ментов не было оружия, то он, Шустряк, прямо здесь поставил бы их всех раком, а потом побил бы так, что им пришлось бы всю жизнь работать только на лекарства, один из солдат решил отговориться ответной грубостью.

— Да заткни ты свое хайло, пидар мокрожопый! Ведь если я подойду, у тебя и рука от страха не поднимется.

”Пидар” было сокращение от ”педераста” — одно из названий для наиболее презируемой части лагерного населения. Их презирали за то, что они, чаще всего принуждаемые к этому силой, играли роль женщин. И выражение презрения к ним считалось обязательным. Старые лагерники говорили, что те, кто не презирал педерастов, были сами тайными педерастами. И ээки, как правило, подчеркивали свою брезгливость к ним. Их не пускали спать в общий барак. Они ели отдельно. Повар, наливая им суп, высоко

поднимал черпак. Пусть все видят, что черпак не прикасается к миске педераста. Даже помоечник, подыдающий лагерные отбросы, в ответ на предложенный педерастом хлеб, мог ударить его за это оскорбительное предложение.

Но несмотря на общее презрение к ним, эки, а также солдаты, надзиратели и офицеры часто ругали друг друга "педераст", "козел", "петух" или каким-нибудь другим словом, которое значило то же самое, но очень редко обижались за это оскорбление. И Шустряк в обычной обстановке мог бы легко пропустить мимо ушей слова солдата. Но сейчас, будучи особенно чувствительным к мнению окружающих о себе, он резко прореагировал на них.

— Ну иди сюда, падла ментовская. Иди, волк. Я тебе так врежу, что тебя ни один архитектор не соберет. Иди, кишкотня позорная. Что, боишься?! Очко жмет?!

Личные отношения между солдатами и заключенными были запрещены. Если они возникали, то офицерам, контролировавшим жизнь лагеря, было необходимо найти виновных. Стремясь упростить следствие, они выработали удобное правило: за конфликт между эком и солдатом неизменно наказывали эка, за дружбу между ними — солдата.

Это правило давало солдатам возможность безнаказанно оскорблять заключенных. И солдаты часто пользовались им. Но не всегда. Иногда разозлившийся солдат предпочитал не прибегать к помощи офицеров, а стремился сам расправиться со своим противником. В некоторых случаях он пристреливал эка, но порой выходил против него один на один без оружия.

Так случилось сейчас. Раздраженный руганью Шустряка и бездействием надзирателя, споривший с Шустряком солдат отбросил автомат и, легкий, красиво перетянутый ремнем, пошел к Шустряку. Смешки заключенных стали

смолкать. Конвойные и надзиратели замерли в предчувствии новых хлопот, которые всегда происходили, когда рутинная жизнь нарушалась. В наступающей тишине отчетливо прозвучали слова солдата:

— Ну, проверим талию, Шустряк. Ты обещал бить — бей!

До того, как солдат направился к Шустряку, заключенные были скорее раздражены происходящим, чем заинтересованы в нем. Перебранка Шустряка с надзирателем и солдатом задерживала их у ворот. А они хотели побыстрее пройти в зону, опрокинуть в рот миску супа и половник каши и растянуться на нарах. Но когда солдат встал перед Шустряком и потребовал исполнения старого лагерного закона "сказал — сделай", они забыли о супе и каше и потянулись головами туда, где, не спуская глаз друг с друга, стояли два двадцатилетних парня.

Такая сцена была не в новинку для эсков. Нередко один из них во время ссоры со слабым противником ловил его на слове, требуя, чтобы слабый выполнил вырвавшуюся у него угрозу ударить сильного. Все понимали, что такое требование было попыткой придать видимость законности избиению. Слабый знал, что его побьют, как бы он ни поступил. Если он ударит, то побои будут считаться ответом на его удар. Если же он не ударит, его измелят как труса.

Но хотя эски и жестоко били друг друга, избиение очень редко приводило к смерти. В данном же случае спорили не два эска, а солдат и эск. И дело могло кончиться смертью Шустряка. Если заключенный нападал на солдата, то заключенного, как правило, расстреливали. Отступление же грозило Шустряку только позором. И потому присутствующие напряженно ждали, что сделает Шустряк.

Солдат, поставивший Шустряка перед выбором позора или смерти, не верил, что Шустряк ударит. Стать трусом,

конечно, ужасно, но все же лучше, чем трупом. Недельки через две сегодняшние события забудутся, позор загладится. Солдат ожидал отступления Шустряка и триумфа за свою решительность. Вот так надо обращаться с зэками. Он умеет это делать.

И Шустряк явно боялся. Его лицо побледнело. Кожа на шее и торчащих из-под куртки ключицах вздрагивала. Но вот лицо изменилось. Оно стало резким. Глаза сузились. Губы сжались. Его правое плечо пошло назад, а левое вперед, будто он готовился ударить. Солдат, не желавший такого поворота событий, но не знающий, как изменить их ход — отступить для него также значило позор, — приподнял голову, показывая, что он не намерен отклониться от удара.

Еще секунда, и два тела покатались бы по земле. Конвойные солдаты дважды бы выстрелили в воздух, сигнализируя о нападении на них заключенного. Приехавшие офицеры бросились бы разнимать дерущихся. Шустряк в горячке продолжал бы драться и с офицерами, выкрикивая, что он всех бы их, гадов, перебил, добавляя тем самым материал для следователя и прокурора. Короткое следствие, показательный суд. Адвокат старался бы переложить часть вины на солдата, указывая, что тот спровоцировал Шустряка, противозаконно подойдя к заключенному. Но прокурор бы тут же осадил защитника.

— Солдат виновен, — вероятней всего, сказал бы прокурор, — и он должен понести наказание за нарушение устава. Но сейчас мы судим не солдата, а заключенного, поднявшего руку на одного из работников лагерной системы с целью, которую заключенный сам сформулировал во время нападения — убить конвойного солдата. У меня нет сомнения, что если бы дать ему волю, он убил бы не только солдата, но и всех, кто мешает ему жить, как он

желает. У подсудимого нет сдерживающих центров. Он не признает законов общества и не знает пощады.

Судья, зная, как далеко могли привести эков вспышки гнева, вряд ли нашел бы нужным нарушить инструкцию начальства, требовавшую вынесения смертной казни заключенным за нападение на конвой.

И когда Шустряк уже замахнулся, чтобы ударом кулака ввести в действие всю эту машину следствия и суда, между ним и солдатом втиснулся высокий заключенный.

— Уйди, — сказал он солдату, — зачем ты вымогаешь? Ведь его убьют, если он ударит тебя.

Вмешательство Карзубого — так звали вставшего между Шустряком и солдатом эка — было таким же неожиданным для всех, как и вмешательство солдата в спор между Шустряком и надзирателем. Хотя все знали, что закон "сказал — сделай" использовался для прикрытия физической расправы — обычно заключенные не выражали сомнения в его справедливости и не возражали против отдельных случаев его применения.

Осуждали закон, в основном, те, кто, по своей слабости, не могли отыграться за побои на других. Они называли этот обычай варварским, но радовались, когда их мучители лупили друг друга, ссылаясь на него. В отдельные инциденты вмешивались, как правило, сильные люди, движимые симпатией или антипатией к участникам: не дать в обиду друга, не позволить радоваться врагу.

То, что одним из участников был солдат, нравилось другим заключенным (и они, как мы; и они понимают, как надо), но раздражало Карзубого. За долгие годы заключения Карзубый часто пользовался законом "сказал — сделай" для расправы со своими противниками. Спор Шустряка и солдата казался ему пародией на лагерную традицию. Вместо опытного лагерника, такого, как он сам, исполнения

закона требовал двадцатилетний соплик, к тому же в ментовской форме. Кашлять-то еще нормально не научился, сука, а туда же.

Заклученные, которым понравилось вмешательство солдата, приняли возможное последствие этого вмешательства — редчайшее несоответствие между проступком и наказанием (смерть за удар). Если Шустряк решится ударить, то это его дело. Он не ребенок — знает, на что идет. Карзубый, напротив, был раздражен участием солдата и потому возмутился несоответствием между наказанием и проступком. Мент должен понимать, на что он толкает Шустряка. Кровопийцы. Им крови нашей надо.

Солдат хотел выпутаться из этой истории и поэтому обрадовался, что Карзубый дал ему возможность отступить. Но, чтобы сгладить свое отступление, он возразил:

— А чего он трепется. Ведь обещал — делать надо.

Это возражение только взбесило Карзубого. Ведь мент, а права качает, доказывает чего-то.

— "Обещал, обещал", — передразнил он солдата, — его мать ждет, а ты "обещал".

Случалось, что жены, дети и другие родные забывали посаженных в лагеря людей. И заключенные не особенно упрекали их за это. Пусть делают все, чтобы им легче было, — говорили зэки. — Им жить надо. Но заключенным все же хотелось верить, что кто-то помнит их. И свои надежды на память людей они связывали с мыслью о матери. Мать, — пелось в лагерных песнях, — до гроба не забудет своего сына. Отношение зэков к матери было понятно солдатам. Армия оторвала их от дома, и им пришлось пережить забывчивость своих знакомых. Для многих из них возвращение домой значило в первую очередь встречу с матерью.

Слова Карзубого еще больше подчеркнули несораз-

мерность наказания, грозившего Шустряку за обещанный им удар. Ушлый зэк в положении солдата нашелся бы, что ответить. Ведь если Шустряк сам не заботился о своей матери, почему другой должен думать о ней. Но солдат не искал слов оправдания. Упрек Карзубого показался ему справедливым. Он молча повернулся и, приподняв от смущения плечи, пошел назад.

Карзубому не пришло в голову, что солдат сам не желал шустряковой гибели. Ему казалось, что тот отступил исключительно под влиянием его слов. И, гордый своей победой, он уверенно произнес, как бы подводя итог случившемуся:

— Вообще лучше дать хлеб голодному человеку, чем отнять у него.

Заклученные обычно воспринимали спор между людьми и особенно между ментом и зэком как состязание и болели за одного из противников. Чаще всего за сильного. Так, несколько минут назад им нравилась решительность солдата. Теперь же они приветствовали успех Карзубого. Здорово он его оттянул. Знай наших.

Напряжение спало. Зэки снова вспомнили о еде и с нетерпением ждали запуска в зону. Лишь Шустряк снова разошелся. Он кричал, что если бы Карзубый не спас солдата, то он, Шустряк, оторвал бы солдату все ноги и заставил бы его танцевать танго, а потом дал бы ему в глаз и сделал бы из него клоуна. Но на него никто не обращал внимания, и он смолк.

Позже, проглотив ужин и растянувшись на нарах, заключенные добродушно посмеивались над Шустряком.

— Повезло тебе. С того света вернулся. Небось в детстве навоз хавал.

И Шустряк, радуясь, что все кончилось благополучно (под суд он не попал, в изолятор не устроился, люди говори-

ли с ним дружелюбно, никто не вспоминал его промах с хлебом), охотно поддержал шутку.

— А что? Все правильно. У нас в колхозе коровы приморенные были. Молока не давали. Только навоз от них и был. Так детей вместо молока навозом кормили. Вот всем нашим и везет. Особенно в драке. Кому в глаз, а нам в два. Кому по хоботу, а нам и по загривку.

Летом, как бы человек ни уставал за день в лесу, отдохнуть ночью было нелегко. Людей мучило два бича тайги: влажная от окрестных болот духота и мошकारа. Одно усугубляло другое. Марля, которую натягивали на окна от мошкары, увеличивала духоту в помещениях. Заснуть удавалось только под утро, когда ветерок на два-три часа освежал воздух. Но в это утро Карзубому так и не пришлось уснуть. У него болел живот.

Зэки привыкли к болям. Особенно на повале. Им казалось, что не было работы тяжелей.. На каменных карьерах и на земляных работах тоже тяжело. Но там, как устанешь или что заболит, руки сами кайлом медленнее машут и на лопату меньше груза берут. А на повале что в начале работы, что в конце, что спина болит, что ноги — балан одного веса. Его не отпилишь, не уменьшишь. Раз он на плече — тащи его целиком. Что-нибудь всегда болит на повале. Балан на шее повернулся — кожу с мясом корой вырвал. Спина хрустнула — в ногу отдало. Обмороженные пальцы заныли. Порубился в спешке. А то зубы. У кого они от холода болят, а у кого, наоборот, на холоде ничего, а только рот закроешь, дергать начнет. Боль для зэка не сигнал, что что-то не в порядке. Сигналь, не сигналь — все равно не помогут. Боль — это то, что надо терпеть.

И Карзубый умел терпеть. Только вот боль в животе была не просто болью. Она напоминала ему, что он скоро умрет. Заезжий врач нашел у Карзубого цирроз печени. И Карзубый знал, что от цирроза умирают.

Смерть часто приходила в лагерь. Иногда умирали по несколько человек в день. Карзубому долго везло. Он пережил многих. Теперь пришла его очередь. Тут ничего не поделаешь.

Но одно мучило Карзубого. Его ни разу не поцеловала женщина. Арестовали пацаном. И освободиться не пришлось. Он бежал, но его быстро ловили. Из тайги так и не вырвался. Сейчас у него возникла надежда. Менты обещали отправить его в Центральную больницу. А там женщины работали врачами. Что они его вылечат, он не верил. Цирроз не лечили. А вот возможности посмотреть на них радовался. Втайне Карзубый мечтал, что он выберет ту, которая добрей, и попросит ее:

— Послушай меня и не пугайся. Люди так много говорят, как женщина целует. А я вот умираю и не знаю, что это такое. Так, может, ты поцелуешь меня. Ведь другого случая у меня уже не будет.

”Вдруг, — подумал он, посмеиваясь над собой — она и согласится. Попросили бы его, он бы ни одной не отказал. Даже если бы она была, как и он, страшной войны”.

Инцидент на обыске дорожной бригады взволновал надзирателя. Если бы Шустряк ударил солдата, всплыло бы дело о хлебе. Спросили бы, почему он его выбросил. А разве скажешь, что рапорт побоялся писать по безграмотности. Стыдно. Хотя и стыдиться нечего.. Колхоз, голод, война.

Горожанам легче было. Они учились. Сначала в школах, потом в институтах. И бесплатно.

Это, конечно, чушь, что бесплатно. Кто-то же учителям зарплаты дает. Если те, кто учится, не платят сами, за них платят те, кто не учится. И поскольку образование, как собственность, переходит по наследству от родителей к детям, то выходит, что семья неграмотных на грамотных кайлит.

Послушать же образованных, так это справедливо: каждому по способностям. До чего только люди не договариваются, чтобы выгоды свои защитить. По-ихнему выходит, что тот, кто в деревне родился, тупей городского. И кто в маленьком городе живет, глупей того, кто в большом. А секрет их образованности один: в больших городах школы лучше. После них легче в институт поступить, экзамены сдать. Да и родители помогут. Тому позвонят, тому подлапят. Так и устроят своих детей в институты. Благо, они все под рукой — в больших городах.

И дети, выучившись, на необразованных свысока смотрят. Женятся только друг на друге. Дескать, у образованного с необразованной жизни не будет — говорить им не о чем. Насчет разговоров, это, конечно, муть. Правда та, что без образования никуда не сунешься, теплого места не займешь. Вон все лагерные офицеры в специальных школах учились, а некоторые институты позаканчивали. И жены их не на стройках работают. Кто врачом, кто бухгалтером. Деньги к деньгам, а должность к должности.

Дома жена сразу увидела, что он был чем-то расстроен. Она быстро накрыла на стол. Выпьет, поест — все по-другому покажется. Это он с голоду что-то в голове накрутил.

Они уже десять лет вместе. До этого она настрадалась без мужчины. Хотя тело у нее ладное было и двигалось ловко, но глазами косила. А на войне и в лагерях столько мужчин погибло, что и на красивых не хватало. И решила

она на север податься. Там было все наоборот. Мужчин много, а женщин мало. Готова была за кого угодно. За освободившегося зэка, конвойного солдата, местного жителя. Лишь бы не одной. Ее решительность окупилась. Нашла. А ее подруги в Центральной России так и остались в бобылках.

Она хорошо помнила свое беспросветное одиночество и старалась радоваться каждому дню с ним. Он, видя ее преданность, сначала носом крутил. При первой возможности в город стремился — там женщин много. Она терпела. Но как-то раз он позвонил ей из города во взвод. Только там междугородний телефон был. Ее позвали. И он кричал ей, чтобы она ни с кем не была (она и не была ни с кем), что он прибудет ее, если у нее что будет. Она тогда чуть не заплакала от радости. Дождалась. Он, наверно, в городе у какой крали от ворот поворот получил. Но разве уж так важно, почему он ее любить стал.

И теперь она ждала его каждый вечер, чтобы прижать его, зацеловать холодными от желания губами. Он шутил, что у нее жар со всего тела в одно место ушел. А потом зажечь свет, чтобы он увидел ее — покрасневшую и счастливую — и самой увидеть его лицо, отрешенное от всего, красивое и благодарное.

Но сейчас он ел, зло бросая в рот кусок за куском. Так он сможет и быка сожрать, — думала она, — и продолжать кого-то ненавидеть. Но вот еда свое взяла. Лицо прояснилось.

— Ну, как дела? — спросил он.

— Ничего, Павел Лукич, — она всегда его по имени-отчеству называла. — Вот в клубе кино идет. Пойдете?

Предложила, но не хотела, чтобы он согласился. После кино он устанет — спать сразу захочет. И он, понимая, что у нее на уме, улыбнулся. Да ну его, кино это. К тому же,

там эти грамотей-офицеры будут. Видеть их сегодня неохота.

И прижимая ее к себе, он забывал об обыске, Шустряке, Карзубом, офицерах. Эх, жаль, детей у них нет. Что-то там не в порядке. Ну, и так хорошо. Зачем зря жаловаться. И казалась ему жена все красивее и красивее.

Солдат был подавлен случившимся. Если бы не вмешался Карзубый, — думал он, — Шустряка бы наверняка расстреляли. И расстреляли бы из-за него. Он вспоминал, как он гордо шел к Шустряку требовать, чтобы тот его ударил, и ему становилось стыдно самого себя. Как хорошо, что Карзубый подоспел вовремя.

В столовой, обсуждая с другими солдатами происшествие на обыске, он узнал, что Карзубому отказали в отправке в больницу. Мест не хватало и для тех, кого можно было вылечить. Врачи считали Карзубого безнадежным. Весть о неминуемой смерти человека, который, как солдат думал, выручил его из беды, произвела на него сильное впечатление. И солдат решил, что завтра он скажет Карзубому, как он благодарен ему.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПОБЕГ

На севере зима длилась десять месяцев, два приходилось на лето. Зимой тайгу покрывали белые мухи — снег. Летом — настоящие. Мухи и мелкая мошкара-гнуз исчезали только на пару часов рано утром. Остальное время они с воем носились в воздухе и в поисках пищи тучами набрасывались на все теплое: радиаторы машин, автоматические пилы, лошадей, людей. Лица шоферов, вальщиков, коногон опухали от укусов насекомых так, что глаз не было видно. Но все же летом природа была менее враждебна людям, чем зимой. Тайга не грозила немедленной холодной и голодной смертью. И потому летом эски бежали.

Трое заключенных дорожной бригады Амбал, Полковник и Инвалид готовились уйти в побег. Жена Полковника спрятала в условленном месте одежду, деньги и документы. Вечерами потихоньку от других Амбал с друзьями обсуждали, как лучше бежать.

Побеги делились на вооруженные и невооруженные. В первом случае эски нападали на конвой и забирали у солдат оружие. Во втором нападения не было.

Администрация всеми силами старалась предотвратить побеги. Ей удалось практически исключить два наиболее применяемых вида невооруженных побегов: через подкоп из зоны и на рывок из строя. Подкоп требовал трудоемкой и длительной работы, которую из-за все увеличивающегося

количества оплачиваемых администрацией доносчиков стало невозможно выполнять в тайне. Введение же в каждом лагере специально тренированных групп солдат для поимки бежавших сделало неосуществимым побег на рывок. Такой побег всегда был рискованным, так как бежали в открытую в надежде, что стрелки промажут. Сейчас, даже если солдаты не убивали и не ранили беглецов, они выстрелами сообщали о произошедшем побеге. И тренированная группа с собаками выходила на след незамедлительно. Убедить невооруженным заключенным от вооруженных спортивных солдат удавалось настолько редко, что побег на рывок стал скорее актом отчаяния, чем серьезной попыткой уйти из лагеря.

Но если в борьбе с невооруженными побегам администрация могла подготовиться и, затратив деньги и время, одержать верх над склонными бежать эсками, то для предотвращения вооруженных побегов подготовиться было практически невозможно. Судьба вооруженного побега решалась на месте. Она зависела от решительности беглецов и бдительности солдат.

Когда существовала реальная возможность бежать без насилия, нападений на конвой было мало. Когда же заключенные не видели шансов бескровного побега, они решались напасть на солдат. Таким образом, чем успешней действовала администрация по предотвращению невооруженных побегов, тем чаще происходили кровавые столкновения между бегущими эсками и конвойными солдатами.

Не найдя другого выхода, Амбал, Полковник и Инвалид решили напасть на конвой. Нападение, по их расчетам, даст им наибольший отрыв от группы преследования. О побеге станет известно только через несколько часов, когда заключенные (солдаты будут убиты) дойдут до лагеря и сообщат о случившемся, а не сразу, как это обычно бывало

при побеге на рывок. Амбал и его друзья знали, как коротко время побегов — северное лето, и с нетерпением ждали удобного случая.

Поскольку дорожники работали не на одном месте, а должны были перемещаться (при ремонте дороги они часто проходили по тридцать километров в день), администрация выделила им отдельный конвой, состоящий из трех стрелков. Отношения с конвойными солдатами были важны для всех эков. Но для тех, кто работал под отдельным конвоем, особенно.

При плохих отношениях конвой мог задергать бригаду придирами: остановить в строю, запретить жечь костры, торопить с перекурами, заставить лечь в грязь. Хорошими считались уже те солдаты, которые вели себя нейтрально, не вмешиваясь ни в работу, ни в отдых заключенных. Более тесные отношения, когда конвой за какую-нибудь мзду (ручной портсигар, расшитый кисет) приносил тихонько подогрев, исключительно ценились заключенными, но они возникали редко. За связь с эками солдаты рисковали свободой, а скрыть эту связь от многочисленных доносчиков было трудно.

У дорожников, где работал Карзубый, установились более-менее нейтральные отношения с конвоем. Эки не ждали от солдат ни плохого, ни хорошего. И потому все были удивлены, когда по приходе на работу к ним, ни от кого не таясь, подошел солдат, споривший на обыске с Шустряком, и протянул сверток Карзубому.

— Вчера, — начал он, — ты сказал, что лучше дать голодному человеку хлеб, чем отнять его. Здесь хлеб. Четыре буханки. Возьмите. А тут сахар. Говорят, он помогает от цирроза.

Карзубый растерялся. Он, как и все ээки, был, безусловно, рад передаче. Но ни он, ни остальные не понимали, зачем солдат делал все в открытую. Можно было найти безопасный способ передать хлеб. Спрятать его в сучках, а затем шепнуть, где искать. Этот же парень играл с огнем.

Однако растерянность Казубого длилась недолго. Он быстро объяснил себе, что солдат сдурил по неопытности. И ему стало жаль его. Вот додик столичный. Таки-ми, как он, сексоты и питаются.

— Мы благодарны тебе, начальник, — сказал Карзубый. — Только тут загвоздка есть. Предупредить тебя надо. Раньше ээки могли своим судом какого гада при всех в бараке повесить и никто по делу не шел. Сейчас в зоне нет угла, в котором чихнуть можно было бы без того, чтобы опер не узнал. На тебя за этот хлеб и наши, и твои донести могут. Но со своими мы расправимся. Если кто поддует, то мы его на собственных кишках повесим. А с твоими сложнее. Пригласи их к нам подчифирить. Если у них самих рыло в пуху будет, они к начальству бежать испугаются.

Солдат слышал о доносах, но сам никогда не страдал от них и потому не очень боялся доносчиков. Увлечшись идеей отблагодарить Карзубого, он легко уговорил себя пренебречь опасностью. За раз ничего не случится, — думал солдат. — А он только передаст им хлеб и больше не будет с ними связываться.

Теперь выходило, что он ошибся. История с хлебом требовала продолжения. Его первым побуждением было отказаться от встречи с ээками. Он хотел сказать, что не боится наказания и потому не считает нужным звать солдат. Но осторожность взяла верх. Зачем рисковать? Карзубый предлагал разумный выход. Если солдаты нарушат правила (чифирнут с ээками), то они вряд ли пойдут доносить на него. Кроме того, раз подчифирить не значит завязать

отношения. Все зависит от него. Он может прекратить их, когда захочет. Эта мысль ободрила солдата. И он согласился пригласить других конвойных.

Когда солдат ушел, Карзубый расстелил бумагу от свертка на пеньке, положил на нее хлеб и начал резать его выдернутой из куртки ниткой на двадцать четыре порции — по количеству рабочих. Затем на каждый кусок он насыпал сахару и крошки, собранные с бумаги. Карзубый мог оставить сахар себе. Солдат дал его Карзубому лично и подчеркнул "для цирроза". Но, чтобы не возбуждать зависти и не провоцировать доносчиков, он решил разделить сахар со всеми.

Заключенные стояли вокруг Карзубого. Некоторые жадно глядели, как он резал, и высматривали большой кусок (совсем ровно на глазок разрезать было невозможно). Другие подсматривали мельком, как бы стесняясь быть нахальными, но хорошо замечали, где лежали более внушительные порции. Третьи, отчаявшись выиграть при подобных дележах, прибавками старались скрыть тревогу, что их обделят.

— Второй день везет. Для полного счастья не хватает только гимназисток.

— За два дня гужовки кишка разовьется, а потом ее укорачивать придется.

— Коммунисты в Кремле амнистию дадут, и в Хорезме ишаки сдохнут.

— Ты, волк, быстро не глотай. Подожди. Вдруг хлебо назад попросят.

— Фраера, — обратился ко всем Карзубый, кончив резать, — если мы подцепим солдат на крюк, у вас будет больше шансов вернуться в свои колхозы, пробиться в счетоводы и жениться на доярках. Вы не будете поднимать ничего тяжелей карандаша. Дождь будет идти, когда вы

будете под крышей. И елки вы будете видеть только в дурном сне и под Новый год. Если же кто из нас доносом помешает осуществлению этой светлой мечты, то мы его три раза подкинем и только два поймаем.

Заключенные смеялись.

— Ты говоришь, как пиццеш. Жаль лишь, что ты безграмотный.

Солдаты колебались, идти или не идти к энкам.

Если от плохих отношений между конвоем и заключенными страдали энки (солдаты могли пристрелить энка и оправдаться, заявив, что тот хотел бежать), то при хороших — в проигрыше были солдаты. Офицеры их наказывали, энки иногда убивали. Опытные конвоиры предупреждали молодых не верить заключенным. По их словам, дружбы между стражником и острожником не было и быть не может.

Но, с другой стороны, пойти хотелось. Многие вольные сочувствовали заключенным, так как в редкой семье хотя бы один родственник не побыл в лагере. Солдаты знали об этом сочувствии. И им хотелось похвастаться на гражданке, что, несмотря на обязанности конвойных, они относились к энкам хорошо, имели среди заключенных друзей. К тому же, им было неудобно отказать своему. Солдат так настойчиво просил их пойти вместе с ним. И они согласились.

Заклученные, обрадованные возможности подружиться с конвойными, старались вести себя исключительно тактично. Они догадывались о страхах солдат и, стараясь их успокоить, держались от конвойных на расстоянии нескольких метров. Солдаты уселись в круг с энками, сунув автоматы между ног. Пока один заключенный вываривал остатки чая, держа черную от копоти кружку за длинную проволоку, скрученную в виде ручки над костром, началось обыч-

ное для лагерных знакомств выяснение, кто откуда родом. Когда же кружка с чифирем обошла круг, разговор стал более оживленным. Старые, надоевшие экам лагерные шутки из-за живой реакции на них солдат снова казались смешными.

— Я за подрыв колхозного авторитета попал. Колхозную курицу проституткой обозвал.

— А я за скаты, — вмешался Чума. — Я их четыре взял. Так мне судья решил по пятерiku за каждый скат дать. Вот восемнадцать и получилось.

— Почему восемнадцать? Двадцать надо, — сказал один солдат и тут же смутился.

Лицо Чумы расплылось в довольной улыбке: все по-падались на эту удочку.

— Судья неграмотный был. Помножить не смог. Ошибся.

— Да вы не слушайте их, — влез Колыма. Ему казалось, что эки неосторожными насмешками могли сорвать установление хороших отношений с конвоем. — Здесь все ни за что сидят. Они уже по червонцу кончают и все не в сознанке идут.

— Как ни за что? Я за то, что красть не умею. Один крадет, так его закон защищает, другой закон обходит, а я вот по простоте да по неопытности здесь загораю.

— Начальники, не верьте ему, — возразил Дурак. — Мы все идейные. Добровольно здесь трудимся. Нам и денег не надо. Было бы тяжело.

— Ну, уж ты работяга! Тебе где бы ни работать, лишь бы не работать.

— А что, — подхватил Дурак, обрадовавшись возможности сказать еще одну шутку и не обращая внимания, что взятая им в новой шутке роль противоречила предыдущей. — Работа — слово греческое. Пускай кто выдумал,

тот и работает. Мы так и живем: нас толкнули — мы упали, нас подняли — мы пошли.

Эзки, желая показать себя, лезли из кожи вон. И солдаты смущались от этого внимания. Их лица, раскрасневшиеся от смущения и горячего чая, стали по-детски милы. Они явно нравились заключенным, особенно пожилым. Эти еще краснеть не разучились, — думали эзки, — не то, что наши шакалы. Нахальны, как танки. Совесть и не ночевала. Глаза, что зимой, что летом отморожены. Без похабства на людей смотреть не могут.

Последнее относилось к нескольким стоявшим сбоку от солдат молодым заключенным, которые, привыкнув к лагерной половой жизни, привыкли и открыто говорить о ней. Сейчас они разглядывали румяных и чистеньких по сравнению с эсками солдат и с нарочитым мужским задором делали хорошо понятный лагерникам жест. Держа руки впереди бедер, они резко прижимали их к нижней части живота, двигая одновременно руки и бедра навстречу друг другу. Этот жест как бы значил: "Эх, дали бы мне этого солдатика. Ширнул бы я его кожаной иглой в тухлую вену. Порвал бы ему очко".

Амбал и его друзья стояли в стороне. Случай подвалил. Давно ждали. Второго такого может и не быть. Но Инвалид колебался.

— Они же хлеб принесли. Может, не рубить их, а просто бежать.

— Куда бежать? — разозлился Полковник. — Они через несколько минут рухнут, в воздух выстрелят. А от тех борзых не уйдешь. Да ты чегоменьжуешься? Если очко жмет, то и рыпаться не надо. Подыхай здесь.

— И что ты их жалеешь? — поддержал полковника Амбал. — Побегал бы ты у них на глазах, они бы тебя за милую душу пристрелили, и им бы еще отпуск за меткую

стрельбу дали. Ты не гляди, что они сейчас хорошие. Стрелок он и есть стрелок. Нам бежать — ему стрелять. Вон они, волки, как за автоматы держатся.

И Инвалид согласился рубить солдат. Они быстро подошли к ним сзади. Солдаты увидели, как вытянулись лица сидевших перед ними эков. Почувствовав неладное, они хотели обернуться, но не успели. Только у Инвалида рука дернулась. Пришлось добивать кричавшего и бывшего на земле солдата. Топоры раскроили черепа, и кровавые мозги вылезли наружу.

— Ну, мясники, навалили, — зло выдохнул Чума, прерывая охватившее всех оцепенение. — А мясо-то молоденькое.

— Кто хочет бежать — бегите, — сказал Полковник.

Заклученным было жалко симпатичных молодых людей, принесших им хлеба. Но смерть этих людей создала возможность побега. И эта возможность с надеждой "рискну и выйдет" и страхом "рискну и поймают" отвлекла внимание эков от убитых солдат.

Заклученные знали, что без помощи с воли (одежда и документы) их шансы на успех были лишь незначительно больше, чем при побеге на рывок. При вооруженных побегах Управление лагерей посылало дополнительные части солдат, которые перекрывали все выходы из тайги. Местные жители боялись голодных вооруженных заклученных. Они помогали солдатам — сообщали им, когда замечали беглецов.

Неудача при вооруженном побеге почти всегда значила неминуемую смерть: или сразу же при поимке от стрелков, мстящих за своих убитых товарищей, или по суду, который обычно считал всех заклученных, воспользовавшихся убийством солдат для побега, соучастниками в убийстве. И потому даже самые рискованные, готовые бежать при малей-

шей реальной возможности эки, молчали и ждали, что еще предложат им организаторы побега.

А тем нечего было предложить. Все, что у них лежало в тайнике, было рассчитано на троих. Но хотя они не могли помочь другим, им хотелось, чтобы другие тоже бежали. При массовом побеге в разные стороны им будет легче добраться до тайника. Собаки в суматохе, может быть, вообще не возьмут их след. Если же и возьмут, то меньше солдат будет их преследовать: и за остальными ведь бежать надо. И они смотрели на бригадников, стараясь понять по их лицам, что те решат. Нет, видно, никто не хотел рисковать.

— Кишкотня позорная, — выругался Инвалид. — Вам на роду написано на ментов пахать. А на лбу приписано "без выходных". Из-за таких рабочих скотов, как вы, лагеря и существуют.

Зэкам было понятно, почему досадовал Инвалид. Ишь, козел, — думали они, — на наших трупах на свободу вылезти хочет. Врезать бы ему промеж рог. Да автомат у него.

— И Колыма сказал примирительно:

— Не крути мозги, Инвалид. Я уже давно высрал, что ты только жевать начал. У тебя четвертак. И тебе без побега или до смерти или до конца советской власти в лагерях гнить. А здесь у кого пятерик, а у кого и меньше осталось. Мы, может, и до звонка дотянем. Ты бежишь, и у тебя, небось, шмотки и ксивы припрятаны. А нас в казенном шмотье менты, как в тире, одного за другим перестреляют.

— Пошли. Не поминайте лихом, — не желая терять времени на перебранку, сказал Амбал.

— Попутного ветра вам в жопу, — отозвался Чума, все еще злой на уходящих за то, что они, убив солдат, сорвали установление хороших отношений с конвоем.

И когда беглецы повернулись, чтобы уйти, раздался голос Карзубого.

— Я иду с вами, Амбал.

Во время всего разговора он молчал, ошарашенный смертью конвойных. Это он позвал их подцифирить, чтобы, "замарав" других солдат, защитить "своего" от возможного доноса. Ну вот, и защитил! Амбал — козел: ему хлеб в зубы, а он топором по кумполу. Опер, наверно, подумает, что он, Карзубый, с Амбалом в сговоре был и нарочно солдат позвал, чтобы беглецам помочь. Теперь вместо больницы (Карзубый утром узнал, что ему в больничке отказано) — изолятор. Вместо лечения и докториц — допросы и встречи с опером. А что если ему уйти с Амбалом? Уйти от следствия, лагеря, гульнуть напоследок.

Вдруг ему повезет на свободе. Встретит он женщину и попросит ее поцеловать его. Прямо подойдет к ней и скажет:

— Ты не бойся меня. Я тебя не обижу. Меня за всю жизнь ни одна женщина не целовала. В лагере четвертак оттянуть пришлось. А сейчас вот хвост откинуть должен. Цирроз у меня. Неужели я так и не узнаю, как женщина целует?

И решил Карзубый бежать.

Если бы его спросили, зачем он это делает, он бы не признался, что ему не хотелось перед смертью в изоляторе под следствием сидеть. Что он, пальцем деланный: не знает, как опера облапошить? Чтобы не показаться идиотом, он бы также не упомянул, как он мечтал попросить женщину поцеловать его. Он бы ответил, наверно, что-нибудь вроде:

— К бабе бегу. Хочу бабу еще раз попробовать.

И сказал бы это с усмешкой, весело. И кто-нибудь, если бы не возразил, то наверняка подумал:

— Глянь, Карзубый, вон бабы к тебе бегут. Кто от

нетерпения уж разувается, а кто платье скидывать начал. Посмотри на себя, старый, вонючий, беззубый зэк. Да если тебя какая баба во сне увидит, то наутро в церковь побежит грех замаливать. Скажет, что ей кто-то страшнее черта привиделся.

Но никто ничего не спросил. Зэки были поражены решением больного человека идти в безнадежный, как им всем казалось, побег. Когда беглецы скрылись за деревьями, Дурак пошутит:

— Был бы он поупитанней, они бы его на мясо пустили. А так кости одни. Вроде и делать с ним нечего.

— Да он скелет свой долго не протянет, — добавил Чума. — Километров через пять хлопнется. Дров много наломает. Сушняк. На корню высох.

Нужно было возвращаться в лагерь. Но как идти? Быстро или медленно?

Лагерная традиция требовала от заключенных всемерной помощи бежавшим. Значит, медленно. Чем дольше офицеры не будут знать о побеге, тем дальше уйдут беглецы до того, как за ними погонятся.

Но за промедление администрация могла обвинить зэков в содействии бежавшим. Иногда за это наматывали новый срок. Офицеры настаивали, чтобы заключенные информировали их о побеге незамедлительно.

Чтобы показать свое рвение, многие были бы рады бежать в зону. Но они стеснялись друг друга. Поэтому после побега оставшиеся обычно возвращались в лагерь медленно. Офицеры, взбешенные их неповиновением, наказывали нескольких заключенных, которых они считали ответственными за задержку. Чаще всего страдали те, кто шел впереди колонны. Направляющие, как говорили офицеры, задавали темп остальным.

Летние дороги в лесу были устроены так, что по ним

можно было идти только в две линии. Видя, как эки хитрили, чтобы не быть первыми, Колыма махнул рукой. "Сволочи, но кому-то же надо". И медленно, не оглядываясь, пошел по одной стороне дороги. Чуть помедлив, на другую сторону встал Чума.

Заявление Карзубого, что он хочет бежать, озадачило Амбала и его друзей. Массовый побег им бы помог, но больной Карзубый был обузой. И было неловко сказать ему об этом прямо. Отказ Карзубому значил бы признание, что они действительно хотели вылезти на трупах своих бригадников. Всех звали, а даже одному помочь не могут, волки, — сказали бы про них эки.

Инвалид и Полковник привыкли, что важные решения принимал Амбал. Амбал же думал, что Карзубый так и так отстанет от них в лесу. До тайника было около тридцати километров. Карзубому столько не протянуть.

Впереди шел Полковник. Он родился на севере и лучше других ориентировался в тайге. За Полковником — Инвалид, потом Амбал и последним Карзубый. У трех первых на плечах были автоматы убитых солдат. Карзубый шел налегке. Шли быстро, иногда от скорости переходя на бег. Амбал сказал идти как можно быстрее и, подмигнув при этом, мотнул головой в сторону Карзубого. Полковник понял, что они должны замотать его. Он надеялся, что Карзубый скоро отстанет.

Но Карзубый не отставал. Взволнованный тем, что он ушел из лагеря на свободу, он первые несколько километров вообще не чувствовал усталости. Боли прекратились. И на какой-то момент ему даже показалось, что он здоров.

До болезни Карзубый работал в погрузке, и только когда он ослаб, его списали в дорожную бригаду. Грузчики в лесу нагружали баланы на лесовозы. Эта работа могла бы считаться средней по трудности среди поваральных работ. Но обстоятельства сделали ее исключительной.

Стараясь лучше использовать имеющиеся лесовозы (их всегда не хватало), администрация давала за быструю погрузку некоторые привилегии, в том числе дополнительную еду. И грузчики старались. Темп их работы был настолько взвинчен, что только очень сильные и проворные люди могли с ним справиться. В особо напряженные дни грузчики раздевались до рубашек в двадцатиградусные морозы.

Карзубый был одним из лучших грузалей. Он любил вспоминать, как однажды он проработал в погрузке тридцать шесть часов подряд (три двенадцатичасовые смены). Вернувшись в зону, все свалились, как мертвые. Лишь Карзубому, возбужденному чаем (грузчикам разрешалось то, что запрещалось другим) и радостью от совершенного, не спалось. Он пошел по другим баракам поболтать, а заодно и показать себя.

А сейчас Карзубый спешил за Амбалом. И когда усталость и боль навалились на него, он, привыкнув к тому, что его тело было выносливей, чем у других, думал, что ему удастся перетерпеть боль и перебороть усталость. Они сами так долго не продержатся, — успокаивал он себя.

И им действительно было трудно. Полковник несколько раз намеревался сбавить темп, но снова прибавлял его, когда видел, что Карзубый все еще шел за ними. После двадцати километров он начал ворчать про себя, что лучше убить Карзубого, чем так гнать. Инвалид думал только, как бы продержаться за Полковником и от усталости не замечал ничего, кроме его спины. Амбал выглядел более-менее свежо. Но спешка стала раздражать и его.

Необходимости бежать уже не было. Начался мелкий дождь, обещавший перейти в грозу. Значит, от погони они благополучно ушли. Под дождем собаки потеряют их след. Кроме того, все равно надо было решать, что делать с Карзубым. Спрятанные вещи находились всего в нескольких километрах. И Амбалу не хотелось тянуть с так и так неизбежным объяснением до тайника. Он готовился остановиться и прямо сказать Карзубому, что они не смогут ему помочь и что Карзубый должен отделиться и идти один. Но сказать не пришлось.

Перед заключенными, как из-под земли, появились два вооруженных солдата. Руки эков рванулись к автоматам. Но Полковник и Инвалид были убиты еще до того, как они коснулись курка. Лишь Амбал успел. Со злости он продолжал стрелять в упавших на землю солдат, пока не расстрелял весь рожок.

— Вот, комсюки (комсомольцы), быстро рюхнулись, — выругался Карзубый, думая, что менты уже расставили посты в связи с их побегом.

Но он ошибался. Встреча в лесу была случайной. Убитые солдаты служили обычными охранниками в лагере, ближайшем к тому, из которого бежали дорожники. Они ничего не знали о произошедшем побеге и перед встречей с беглецами направлялись в соседний поселок купить водки.

Водку завозили на север редко. Пили, в основном, самогон. Поэтому, когда она появлялась в каком-нибудь магазине, туда устремлялись покупатели из всех окрестных поселков. Солдатам было сложнее, чем гражданским. Им приходилось договариваться со своими товарищами поработать за них. Охрана эков считалась военным постом. И офицеры нещадно, вплоть до суда, карали за самовольное оставление его.

Бежавшие за водкой солдаты были бы рады остаться

незамеченными. И, вернее всего, они бы спрятались также и от заключенных. Но, желая вернуться на свой пост скорей, чтоб офицеры не успели заметить их отсутствия, они неслись что было сил и увидели беглецов только тогда, когда столкнулись с ними лицом к лицу.

Перестрелка с солдатами полностью разрушила планы побега. Амбал был подавлен. На смену Полковнику с документами и шмотьем (только он знал, где находился тайник) — циррозный Карзубый. Вместо побега втихую — лобовое столкновение с оперативными солдатами (Амбал, как и Карзубый, думал, что солдат послали их ловить). Вместо большого отрыва от преследователей — возможное преследование по пятам. На таком расстоянии и кошка с насморком со следа не собьется. А от тренированной собаки одно спасение: проливной дождь часа на два. И Амбал с надеждой смотрел на небо и с ненавистью на Карзубого, которого он считал причиной всех бед. Не увязался бы этот гниющий козел за ними, они бы не мчались, как сумасшедшие, и успели бы вовремя заметить солдат.

А Карзубый согнулся от болей. Стараясь скрыть их от Амбала, он присел на корточки возле солдат будто бы с целью обыскать убитых. Ему повезло. Он нашел пятнадцать рублей денег и три плитки шоколада.

Находка привела Амбала в себя.

— Бежим, — сказал он. — Менты, наверно, уже на выстрелы сюда спешат. Мы ведь такую канонаду устроили, что и глухой услышит.

Переодеваться в солдатскую одежду не имело смысла. В ней ни в один город не сунешься. Патруль обязательно документы спросит. Конечно, в лесу в ней удобней. Но время терять ради удобства не стоило. И, взяв, по автомату и запасному рожку, они побежали.

Амбал бежал впереди, равномерно хлюпая сапогами

по намокающей земле. Карзубый старался не отставать. Но с каждым шагом ему становилось все тяжелее и тяжелее. Из гордости он молчал. Но Амбал уходил вперед. И Карзубый позвал его. Сначала тихо, стесняясь своей слабости, затем громче, боясь, что Амбал уйдет. Но Амбал не оборачивался. Так же равномерно хлюпали его сапоги. Он хочет бросить меня, — подумал Карзубый.

Карзубый знал, что если беглецы не ладят друг с другом, им надо разойтись. В побеге все нервные. Лучше быть одному, чем с тем, кого ты раздражаешь или кто раздражает тебя. Но он пошел в побег без всякого плана в расчете, что Амбал поможет ему. Останься он один, он бы не знал, что делать.

Амбал боится связываться с ним, — рассуждал Карзубый, — так как думает, что он будет в тягость Амбалу. Он должен показать, что он силен. Он сейчас догонит Амбала. И Амбал поймет, что Карзубый может быть полезен.

Его сердце разрывалось. Воздуха не хватало. Дождь душил его. Он всхлипывал при каждом вздохе. Но его ноги задвигались быстрее. Амбал приближался. И когда он поравнялся с Амбалом, он выдохнул со свистом: "Давай быстрее!"

Но Амбал остановился. От погони они ушли. Дождь хлестал, как из ведра. Ни одна псина ничего не учует. А от Карзубого ему все равно не отделаться — он скорее хвост откинёт, чем отстанет. К тому же, Амбал точно не знал, куда они бежали. Он хорошо ориентировался в тайге только по небу, а оно было закрыто тучами. Можно было судить и по сучкам. Говорили, что больше сучков росло с южной стороны. Но он не особенно доверял этой примете. Амбал подошел к дереву и медленно уселся на корни (они были суше земли) спиной к стволу.

Карзубый несколько минут доказывал, что им надо

бежать. Потом опустился на землю, прямо, где стоял, и потерял сознание.

Когда Карзубый очнулся, дождь перестал. Он полез в карман — шоколада не было. Не было также и денег. Амбал стоял, готовый уходить. Он даже не взглянул на Карзубого.

Амбал украл, — со злобой подумал Карзубый. — Они сами никуда не могли деться. Вот шакал позорный. Ведь это он, Карзубый, нашел деньги и шоколад и поделился с Амбалом.

Карзубый схватил автомат. Он был разряжен.

— А ты попробуй, стрельни, — засмеялся Амбал. — Может, и получится. Прихлопнешь меня. Шоколад заберешь. Пятнадцать дубов твоих будут. Чего молчишь? Я тебя посонником прикончить мог, но пожалел. Дай, думаю, бедолаге еще пару деньков пожить. А ты вон какой свирепый. Чуть что — и за автомат.

Карзубый молчал. Надо было раньше уходить от Амбала, а не соревноваться с ним в беге. Нашел друга, волк. На свободу дураку захотелось. Он попытался встать. Резкая боль ударила его. Голова кружилась. Амбал увидел, как побледнел Карзубый. И ему пришло в голову, что Карзубый смог бы ему помочь.

— Ты слышишь шум? — спросил Амбал. — Это вертолеты. Они ментов из спецзвода на посты расставляют. Без документов и вольного шмотья из тайги не выйдешь. У нас их нет. У Полковника был тайник. Я не знаю, где он. Нам осталось одно: отсидеться в лесу, пока они назад в город не смотаются. Карзубый, я не дипломат. Я привык прямо говорить. Помоги мне отсюда выбраться. Я понимаю, что я тебя не должен просить. Я же тебя грабанул — за деньги и шоколад кинул, — и я же тебя о помощи прошу. Но смотри. Ты до сорока доскрипел, а мне и до тридцати не

дотянуть. Даже если я отсюда выберусь, меня через год-другой по новой заловят. И от вышки мне не уйти. Помоги мне хоть годишко человеком пожить. И я тебя, как брата родного, вспоминать буду.

— Ты что, бредишь, волк? Как я тебе помочь могу?

— Солдаты, которые на постах стоят, да и офицеры ихние — городские. Они к таежной жизни не привычные. По болотам стоять никому не нравится. Здесь самый преданный чекист все тома Кырлы Мырлы сожжет, чтобы хоть на минуту дымом мошку отогнать. Если им идею подать, что в лесу караулить некого, то они с радостью ей поверят. Тебе все равно ловить нечего. Все равно помирать. Что в тайге, что в лагере. В лагере еще лучше: дольше протянешь. Вернись туда. Скажи им, что ты меня прикончил. А если тело искать пойдут, скажи, что ты меня в болоте пристрелил. И тело в трясину засосало. Вон здесь как раз болото и начинается. Видишь, где сушина лежит. Туда они в жизнь не полезут.

Карзубый усмехнулся. Вот шакал подлый. Последний кусок у него отнял, а теперь на его трупe вылезти хочет. Дать бы ему в морду, козлу. А вообще-то, чего не пообещать? Обещать все можно. Он, небось, на радостях, шоколад отдаст, да и патронов подкинет.

— Ну что тебе сказать, Амбал. Падла ты, конечно. Но в одном ты прав. Долго мне в лесу не протянуть. А если вернусь, то месяц-другой, может, и проживу. Мне все одно: сказать, что я тебя убил или нет.

— Так скажешь?

— Сказать все можно.

— Чего ты загадками говоришь? Скажешь или нет?

— Я бы сказал, но обидно мне, что ты обокрал меня.

Ведь я с тобой по-честному все поделил.

— Да бери назад. Я и не притронулся к нему.

— И патронов дай, чтобы меня солдаты живым не взяли. Они ведь, волки, за своих ногами забьют.

Из трех групп лагерной администрации (офицеров, надзирателей и солдат) в лагере заключенные опасались больше всего офицеров. Они отвечали как за работу, так и за дисциплину эков. За ними шли надзиратели. Они наказывали только за дисциплинарные нарушения. Работа заключенных их не касалась. Меньше всего эки страдали от солдат. Те отвечали, в основном, за охрану. И потому порой не обращали внимания на мелкие нарушения режима заключенными и не вмешивались в их работу.

В побеге все было наоборот. Ответственные за поимку беглеца солдаты становились его первыми врагами. Поймав бежавшего эка, они часто убивали его, иногда с издевательствами. Лагерные офицеры обычно не ловили бежавших. И, если беглец сдавался им, они старались сохранить его для следствия и суда.

Зная отношение солдат и офицеров к побегушникам, Амбал не увидел противоречия между намерением Карзубога отстреливаться от солдат и его обещанием вернуться в лагерь.

— Бери, — сказал он Карзубому, протягивая рожок, и добавил. — Всю жизнь, сколько осталось, буду помнить тебя.

Амбал хотел уйти, но боялся повернуться спиной к Карзубому. Кто знает, что ему в голову придет. Может, пальнет по обиде. Сейчас у него патроны есть. Карзубый понял, почему Амбал медлил.

— Ну, удачи тебе, Амбал, — сказал он и, не оборачиваясь, пошел в лес.

— Помоги, Карзубый, — крикнул ему еще раз вдогонку Амбал.

Оставшись один, Амбал первое время думал, что Карзубый действительно поможет ему. Чего Карзубому

стоит сказать, что он убил его? Пока суд да дело, он и умрет. А Амбал уже начал присматривать место, где он надеялся дожждаться скорого ухода солдат.

Но вдруг противоположная мысль пронзила его. Что если Карзубый вместо того, чтобы помочь Амбалу ускользнуть от ментов, поможет ментам поймать его. Ну, конечно, так оно и будет, — решил Амбал. — С чего Карзубый спасать его должен? За то, что Амбал бросил его одного в лесу? Карзубый за это отомстить захочет. Хотя бы с помощью ментов. Сейчас ему начхать, что эки о нем скажут. Ведь так и так ему крышка.

Амбал досадовал на себя, что он не убил Карзубого. В лагере Карзубого считали своего рода живой реликвией. Он просидел четвертак без выхода. И у Амбала не поднялась на него рука. Козел, — ругал себя Амбал. — Пожалел он его. Распустил перед ним сопли, как паршивый комсомолец в мавзолее. А Амбала жалеть будут? Да если его поймают, то менты его собаками затравят. Сапогами на ребра будут прыгать.

Амбал боялся, что Карзубый приведет ментов на эту полянку. И он решил запутать свой след. Он нашел ручей, приблизился к нему на расстояние прыжка, но не прыгнул, а пошел в сторону от него. Через пять-шесть километров он остановился и, строго идя назад по своему следу, вернулся к ручью. Только теперь он прыгнул в воду.

Собаки, — думал Амбал, — дойдут до того места, где он повернул, и потеряют след. Опасаясь, что менты, поняв его хитрость, поведут собак вдоль ручья, пока они снова не почуют его след в том месте, где он выйдет из воды, Амбал посчитал необходимым запутать след еще больше. Он прошел по ручью шесть-семь-километров и наткнулся на другой ручей, в который впадал первый. Пройдя несколько километров по новому ручью, Амбал нашел

дерево, сучки которого он мог легко достать из воды. Он влез на него и, перейдя по сучкам на другую сторону дерева, спрыгнул на землю в семи-восьми метрах от ручья.

Лишь теперь он почувствовал себя в относительной безопасности. Надо быть слишком упорным преследователем, чтобы найти его след. А солдаты тоже люди. Им надоест по тайге мотаться. Чтобы не искать Амбала, они уговорят себя, что он утонул в болоте.

Амбал нашел заросший подсадом пригорок, с которого он видел дорогу в деревню. Обычно на таких дорогах стояли посты. Здесь, в подсаде, он и обоснуется. Амбал верил, что у него хватит сил дожидаться ухода солдат. Даже если ему придется торчать тут до зимы. В лесу есть еда. Птицы, грибы, ягоды, лягушки, змеи. А может, ему посчастливится поймать собаку или кошку. Они иногда забегают в лес из деревни. Люди же на него не наткнутся, — думал Амбал, — никто в тайгу и носа не покажет. Слухи о вооруженном побеге обычно запугивали всех.

А Карзубый не знал, что ему делать. В город не пробраться. Ментовских постов, как телеграфных столбов, по всем дорогам понатыкано. Ждать, пока менты в город смотаются, у него сил не хватит — он раньше хвост откинёт. Осталось ему либо в лагерь возвращаться, либо покончить с собой.

Карзубый порой думал о самоубийстве. Но всегда или обстоятельства или надежда на будущее быстро отвлекали его от этой мысли. Он хорошо помнил один случай. После ареста родителей ему как сыну врага народа дали пять лет. Он хотел убить себя. Покамерники, другие малолетки (Карзубому было пятнадцать), спросили, почему он

такой кислый. Он ответил, что ему дали ужасный срок — пятерик. Мальчишки рассмеялись.

— Да у тебя детское наказание — пять лет на параше просидеть можно.

Оказалось, что в этой камере самый маленький срок был семь лет. Против воли Карзубый улыбнулся. А он-то думал, что ему хуже всех.

Но сейчас он был один в лесу. Надежды на будущее у него не было. И мысль застрелиться неотступно сверлила его голову. Карзубый посмотрел в черную дырку дула. Одно движение пальца, и все кончится. Он слегка надавил курок. Но тут же отвел автомат. Куда спешить? Ему удалось прокрутиться в лагерях двадцать пять лет. Зэки шутили, что, по вольным масштабам, Карзубому не меньше ста пятидесяти. Так зачем же такому старому смерть самому искать? Пусть она его ищет. И решил Карзубый возвращаться в лагерь.

Он вспомнил надзирателя, жившего у самого края поселка рядом с лесом. К нему в дом будет легко пробраться незаметно от остальных. Надзиратели, как и лагерные офицеры, обычно не убивали сдавшихся им беглецов. А этот надзиратель был, вроде, неплохим мужиком. Шустряк с хлебом у него сгорел, а он его на кичу (в изолятор) не поволок.

Было утро следующего после побега дня. Карзубый думал пойти к надзирателю после ужина. Поевши, люди добрей делаются. Где голодный отнимет, сытый поделится. Голодный убьет, а сытый братом назовет.

В лагере ходило много историй о том, как беглецы убивали своих бывших начальников за прежние обиды.

Согласно некоторым из этих рассказов, эки не щадили и членов семьи. Женщин насиловали и потом убивали. Детям расшибали голову о стену с криком "Бей ментовское отродье!". И хотя в действительности сбежавшие заключенные исключительно редко сводили счеты с администрацией (убить ненавистного начальника было много легче в зоне, чем в побеге), историям о нападении беглецов на начальство верили как эки, так и сами начальники.

И когда дверь в доме надзирателя открылась и на пороге показался Карзубый с автоматом на плече, надзиратель и его жена замерли от ужаса. Увидев страх на лицах хозяев, Карзубый спустил автомат на пол и оттолкнул подальше от себя ногой.

— Возьмите автомат, — сказал он. — Я сдать пришел. Только накормите перед изолятором.

Первой опомнилась женщина. Она засуетилась, обрадовавшись, что Карзубый их не убил.

— Сюда садитесь. Я вам сейчас картошечки с мясом дам. Мы уже поели. Так вы без нас кушайте.

И она наложила полную тарелку разваливающейся картошки, сунула в нее большую ложку сливочного масла и положила сбоку кусок вареного мяса.

Карзубый ел. Ел быстро. Ел не ртом, а всем телом, вздрагивая и всхлипывая от удовольствия. Ел и не мог ни на секунду оторваться от еды.

Все, кто был связан с лагерем, видели, что эки голодали. Уволившиеся из лагерной системы начальники говорили, что нежелание видеть голодных людей было одной из причин их ухода. Но большинство оставались работать в лагере и привыкали к тому, что заключенные жадно заглатывали кашу, засасывали пайку хлеба, что некоторые, не выдержав постоянного голода, шли на помойку. "Ла-

герь есть лагерь”, — говорили начальники, имея в виду, что порядок установлен не ими, и они не силах ничего изменить.

Надзиратель и его жена тоже привыкли не обращать внимания на голод заключенных. Но сейчас они видели не безымянную массу голодных эзков, а одного живого человека у себя в доме, с жадностью проглатывающего их обычную еду. И им стало неудобно, что он был так голоден.

А Карзубый ел. В первый раз в его сознательной жизни ему перепала такая вкусная еда. И теперь наверняка в последний. Гуляй, бродяга. И лишь когда Карзубый все кончил, он почувствовал неловкость хозяев и слегка смутился. Ишь, кашалот позорный. Распустил кишку. Он осторожно подобрал ложкой крошки пюре, чинно отодвинул тарелку и сказал, как будто был гостем:

— Вот уж благодарю. Давно я так вкусно не ел.

Пересиливая неутоленный голод (мог бы есть весь день), Карзубый добавил, что он наелся. Хозяевам стало легче, когда Карзубый взял себя в руки, Надзиратель посмотрел на часы.

— Минут через пятнадцать офицерское собрание кончится. Они из зоны домой пойдут. Вот мы и тронемся на вахту. Надо к офицерам попасть, а не к солдатам. Те злые сейчас.

Он хотел сказать, что солдаты разозлились из-за убийства конвоя и наверняка убьют Карзубого, если захватят его. Но, желая избежать неприятных разговоров при жене, промолчал. Карзубому так и так крышка, — рассуждал про себя надзиратель. — В убийстве конвоя его все равно обвинят. Только если он докажет, что он присоединился к побегу уже после того, как солдаты были убиты, его возможно, и то вряд ли, не разменяют. И хотя он не верил,

что Карзубому удастся убедить суд в своей непричастности к убийству солдат, надзиратель решил намекнуть ему на такую возможность.

— Ну те, другие, бежали и готовились к побегу, а тебя-то что понесло?

Карзубый понял надзирателя и был тронут его стараниями помочь ему. Он хотел закончить разговор легко и непринужденно. Пошутить что-нибудь.

— Знаете, как французы говорят, — бойко начал он, — во всем женщины виноваты. Они везде воду мутят. Даже в мужском лагере. Вот и пришло мне в голову, что меня за всю жизнь ни одна женщина не поцеловала. Ну, я и подумал, что, если не бежать, то...

В этот момент Карзубому стало ясно, что он действительно умрет, так и не испытав женского поцелуя. Что это правда. Правда окончательная и бесповоротная. Нет, он не сможет закончить эту фразу в шутливом тоне. Она прозвучала бы, как жалоба на судьбу.

В доме снова наступила неловкость. Опять не так, — подумал Карзубый, — они ему жратву дали, а он им тоску нагоняет. Он поднялся.

— Идти, наверно, пора.

— Да, пора, — ответил надзиратель, хотя пятнадцати минут, которые они собирались прождать в доме до конца собрания офицеров, еще не прошло.

Вдруг женщина подошла к Карзубому, обняла его за голову и трижды поцеловала в углы рта и щеки. Потом перекрестила. Мужчины вышли. Спереди Карзубый. Сзади, как конвоир, с карзубовым автоматом в руке надзиратель.

Проходя по поселку, Карзубый с любопытством глядел по сторонам. Он редко видел дома вольных так близко. По сравнению с бараками они казались уютными. И за каждой стеной были женщины. Одна попалась навстречу.

чу. В ярком платке с ярко накрашенными губами она так выделялась на фоне серой земли, бледносерого неба и темносерых домов. И взглянув на ее губы, Карзубый вдруг сообразил, что его только что поцеловала женщина. А он и не понял, что это был поцелуй. Он воспринял его, как простое прощание, как мужское пожатие рук. От неожиданности открытия он остановился:

— Ты что? — спросил его надзиратель.

Карзубому хотелось сказать, что случилось нечто важное в его жизни, что осуществилась его мечта, когда он уже не надеялся на ее осуществление, что его, наконец, поцеловала женщина. Но он вспомнил, что надзиратель был мужем этой женщины, и решил промолчать.

— Так. Ничего. — буркнул он. Молча повернулся и пошел вперед.

Они быстро подошли к зоне. И когда надзиратель подумал, что опасность встречи с конвойными солдатами уже миновала, дверь вахты резко раскрылась. Выскочивший оттуда солдат бегом направился к Карзубому.

— Змей ползучий, — кричал он на бегу, — Петьку заманил, паскуда, и убил его (Петькой звали солдата, принесшего Карзубому хлеб). Солдат вытащил из кармана рожок и вогнал его в автомат. — Готовься к смерти, ирод. Вон с ними лежать будешь.

Только сейчас заметил Карзубый валявшиеся у обочины тела Полковника и Инвалида. Над ними тучами кружили большие таежные мухи.

Выставление солдатами убитых беглецов около вахты стало традицией. Солдаты говорили, что они клали трупы для обозрения, чтобы запугать заключенных. Смотрите, такой конец ждет всех, кто бежит. Но следовать этой традиции было непросто. Беглецов чаще всего убивали в лесу. И солдатам приходилось тащить их тела на себе по

узким лесным тропинкам. Иногда за много километров. Желая избежать перетаски, солдаты шли на хитрость. Окружив беглеца в лесу, они убеждали его сдаться, обещая сохранить ему жизнь. Если он соглашался, то его приводили к зоне и только здесь пристреливали.

Убийство бежавших в лесу казалось лагерникам нормой. Такой порядок. Беглецам — бежать, стрелкам — стрелять. Убийство же сдавшихся около вахты пугало (на тоже так могут) и возмущало эзков. Но их раздражение обрушивалось не на вероломство солдат (враг на то и враг, чтобы обманывать), а на доверчивость заключенных (что они, не знали, с кем дело имели, волки). Если же солдаты выполняли обещание и не убивали сдавшегося беглеца, то его не ругали. Выкрутился, — одобрительно говорили эзки, — ему считается.

Карзубый хорошо знал неписанный кодекс чести побегушника. Согласно этому кодексу, приближающаяся к нему смерть посчитается еще более нелепой и позорной, чем смерть сдавшихся в лесу. Тех хоть под ружьем к зоне привели, — скажут эзки, — а Карзубый сам приполз. И если бы Карзубый подумал о возможной реакции заключенных на то, что происходило с ним у вахты, он, наверно, взвыл бы от стыда и каким-нибудь отчаянным поступком, вроде нападения на солдата, постарался бы загладить свой позор.

Но в этот момент Карзубый не думал о заключенных с их правилами. Он думал о женщине, только что поцеловавшей его. Он умрет сейчас, но умрет так, что она запомнит его. Надзиратель расскажет ей, как умирал Карзубый. Только бы солдат дал ему возможность показать, на что он способен. Если бы он его не убил, а только ранил вначале. Тогда Карзубый приложит руку к ране, потом к сердцу, чтобы кровь отпечаталась на куртке. Усмехнется и скажет:

— Промазал, начальник. Сердце здесь. Сюда и стреляй.

И когда солдат уже приготовился для выстрела, впереди Карзубого встал надзиратель.

— Стой, — крикнул он, — его нельзя стрелять. Он сдался.

— Да ты что? Он же Петьку убил. Его не стрелять, его по кускам резать мало.

— Это суду решать.

— Да иди, волк, со своим судом. А то и тебя с ним прихвачу. Тебе что — жить надоело?

— За меня и тебя разменяют. Я не зэк.

— Уйди. По-хорошему прошу. Не вымогай. К жене иди, а то ей гроб заказывать придется.

— Стреляй, дурень. И на твоей могиле напишут: "Идиоты долго не живут".

Солдат вскинул автомат и выстрелил над головой надзирателя.

— Последний раз говорю: уйди!

Надзиратель побледнел. Лицо солдата выражало решимость во что бы то ни стало довести свое дело до конца.

— Брось, начальник, — прозвучал сзади голос Карзубого, — мне все равно помирать, а тебе жить надо. У тебя жена есть. Дай этому козлу потешиться. А то ему в деревне на побывке и похвастаться перед девками нечем будет.

И надзиратель уже думал уступить солдату. Но в это время с вахты раздался властный голос.

— Рядовой Рублевский! Смирно!

Солдат вздрогнул и вытянулся.

— Кругом!

На ступеньках вахты стоял недавно приехавший в этот лагерь оперуполномоченный.

— Рядовой, идите во взвод, сдайте оружие и доложите взводному о выстреле.

Солдат молча повернулся и хотел идти.

— Отставить, — резко сказал опер.

Солдат повернулся опять к оперу.

— Вы слышали приказ, рядовой?

— Так точно, товарищ лейтенант.

— Идите.

— Есть, товарищ лейтенант.

Оперуполномоченный подождал, пока солдат отошел.

Затем сказал надзирателю:

— Отведите заключенного в изолятор и зайдите ко мне.

По дороге от опера домой надзиратель продолжал думать о сцене около вахты. Из всего, что случилось там, больше всего затронуло надзирателя поведение солдата. Солдат показал ему разницу между ним и офицером. Надзирателя он был готов убить, а оперу не решился и слова поперек сказать. Так мы и живем, — ругался надзиратель, — кому сапогом в морду, а кому мордой в сапоги.

Ему захотелось уйти из лагерной системы. Он думал, что если он овладеет каким-то ремеслом, например, токаря или механика, он почувствует себя более независимо от других людей. Конечно, коль он уйдет, стаж и армейская пенсия пропадут. Но зато он себя человеком почувствует. Да и жене лучше будет. Она вон как Карзубого пожалела. А он ее в этих подлых лагерях держит.

— У меня разговор к тебе, — сказал надзиратель, войдя в дом. — Я знаю, что тебе тяжело здесь жить. Смотреть, как люди друг друга с голода едят. Из-за моей лени мы здесь застряли. Но сейчас решил я в город переехать. На механика выучусь. Заработаю как-нибудь.

Она сидела на стуле и пристально смотрела на него.

— Чего ты? — спросил он.

— Ну что сказать Вам, Павел Лукич. Видно, кончилось наше счастье. Пожили мы с Вами — и за то спасибо.

Она поднялась и гордо вскинула голову.

— Чего? — вскричал он. — Ты чего, дура, мелешь? Чего кончилось?

— Как "чего"? Снова Вас в город потянуло. Женщины там. Я не упрекаю Вас за это. Не думайте. Только после нашей любви не смогу я других женщин терпеть, как раньше терпела. Вы уж не обессудьте, Павел Лукич. Я Вас всегда хорошо вспоминать буду.

— Голодной куме одно на уме, — безнадежно махнул рукой надзиратель.

Ему было обидно, что жена так ложно истолковала его намерения. Но потом он успокоился. А ведь до пенсии немного осталось. Разумней в лагере доработать.

Выслушав доклад надзирателя о возвращении беглеца, опер распорядился послать собаководов по следу Карзубого от дома надзирателя. Где-то Карзубый расстался с Амбалом, — рассуждал опер. — Собаки доведут до этого места и, может быть, возьмут амбалов след. Затем он сообщит в Управление, что Карзубый вернулся и что группа преследования вышла по его следу в поисках Амбала. Ему сказали, что начальник спецвойск, оцепивших лес, вскоре вылетит к оперу для допроса Карзубого. Опер не верил, что Карзубый будет давать показания об Амбале. Допроса не получится, — думал опер, — а вот из простого разговора, возможно, что-нибудь и удастся выудить.

Нормы калорий, жиров, белков и углеводов, необходимые ээку для работы в лесу, рассчитывались в Москве. Продукты, согласно этим расчетам, посылали из теплых

краев. Они меняли много рук. Люди, которые ими заведовали (грузчики, шоферы, матросы барж, кладовщики и их начальники), пополняли ими свой скромный бюджет. И когда продукты попадали в ээковский котел, то вряд ли оставалась и половина того количества калорий, белков и углеводов, которые по расчетам московских медиков надо было дать заключенному. Жиров оставалось и того меньше. Многие люди в этой стране пережили хотя бы один голодный год. Помня, что жиры скорее всего утоляли голод, они продолжали считать их самыми ценными продуктами и брали в первую очередь.

Заключенные привыкли к обезжиренной пище. И когда они съедали немного сала, масла, комбижиров, маргарина или подсолнечного масла, их обычно рвало. Все знали, как кончались редкие лагерные пиры, но только немногим хватало сил воздержаться от них при случае.

В изоляторе желудок Карзубого мстил хозяину за ложку сливочного масла, которую положила ему в картошку жена надзирателя. Его тело, сотрясаемое приступами рвоты, бессильно повисло над парашей.

И посмотрев в волчок камеры Карзубого, опер подумал, что он, наверно, не сможет поговорить с ним до прибытия начальства.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

СЛЕДСТВИЕ

Ночью таежная тишина лагерного поселка обычно нарушалась лаем сторожевых собак, редкими выкриками часовых и ревом лесовозов (лес вывозили круглосуточно). В эту ночь людей потревожил необычный звук — стук мотора вертолета. Начальство прилетело, — подумал опер и пошел к взводу, куда сажались редкие вертолеты из Управления.

Там он встретил майора — начальника спецвойск, присланных для поимки убежавших заключенных.

— Я надеялся на хорошую весть, — пошутил майор, пожимая оперу руку, — что, пока я летел, Амбал тоже вернулся. Но по Вашему лицу я вижу, что это не так. А Вы спрашивали Карзубого об Амбале?

— Нет, он болел. Говорить не мог.

— А как он сейчас?

— Я думаю, что на несколько вопросов он сможет ответить.

Когда офицеры вошли в камеру, им в лицо ударил спертый запах рвоты. Майору стало дурно. И опер понял, что спрашивать придется ему.

— Карзубый, мы понимаем, что ты болен. И тебе не до нас, — начал он. — Ответь только на один вопрос. Где Амбал?

Карзубый вздрогнул и приподнялся на локтях. Опер хотел, чтобы он дал показания об Амбале и тем самым помог ментам поймать его.

В лагерях между операми и зэками шла непрекращающаяся борьба. Первые стремились узнать обо всех происшествиях и нарушениях режима в зоне и наказать виновных. Вторые старались их скрыть. Заключение видели, как ловко могли оперы на основании, казалось бы, совершенно невинных сведений о каком-либо зэке составить обвинительный материал против него. Чтобы не дать им этих сведений, они выработали правило, которое запрещало дачу оперу какой бы то ни было информации о другом заключенном.

Карзубый с первых дней тюремной жизни усвоил, что никаких показаний ментам давать нельзя, и никогда не сомневался в этом. Как-то раз, еще в тюрьме для малолеток, Карзубый резко оборвал пытавшегося завязать с ним отношения опера. После этого случая его ни разу не спрашивали о других. Вероятно, поместили в деле из какого теста Карзубый сделан, — думал он с удовлетворением.

И потому вопрос ментов об Амбале обидел его. Что они, волки, забыли с кем дело имеют. И он уже собирался грубо напомнить им, кто такой Карзубый. Сказать что-нибудь вроде:

— А вы его в говне поищите (заключенные оправлялись в выгребные ямы). Он там сидит и через трубку дышит.

Но взглянув на офицеров, Карзубый изменил свое решение.

Они стояли перед ним — ладные, красивые, здоровые. По его представлениям, они могли брать от жизни все. Выйти из лагеря, купить такой еды, какой им вздумается, и столько, чтобы уже больше не хотелось есть. А то поехать на юг, где тепло, море и женщины загорают на пляже. А Карзубому так ни разу и не пришлось вволю нажраться. И он никогда не видел ни моря, ни загорающих женщин.

Да и Амбал тоже, наверно, всю жизнь ел выброшенное, носил выношенное и, кроме как о потрепанной бывшей эчке и мечтать-то не осмеливался. И вот теперь, когда он вырвался, чтоб хоть такую отбровку живой понюхать, они ему — "Нельзя!". Вертолеты на него. Солдат целый полк прислали. Ему вспомнились слова Амбала: "Скажи им, что ты убил меня. Они быстрее в город укатят. Дай хоть годишко человеком пожить". И прохрипел Карзубый, разрывая слипшийся от блевотины рот:

— Я убил его.

Опер не поверил, что Карзубый сказал правду.

— Тело показать можешь? — быстро спросил он.

— Там болото было. Засосало его.

— А как же ты сам из болота выбрался?

— Мы не в самом болоте. Мы на валежине стояли.

— Зачем вы забрались туда?

— Думали через болото перебраться, чтобы след запутать.

— За что ты его убил?

— Он у меня шоколад украл.

— А шоколад откуда?

— У убитых солдат взяли.

— Он прямо на валежине и украл?

— Нет, украл раньше. А там я только рухнулся. Перед болотом зрять захотелось.

Опер не мог запутать его. Офицеры вышли.

— Карзубый очень любезен, — улыбнулся майор. — За нас всю работу сделал. Подельника пришил и сам пришел.

— А я что-то сомневаюсь в его показаниях, — возразил опер.

— Почему?

— Слишком уж он старательно отвечал на все вопросы.

Как будто убедить нас хотел, что он действительно Амбала убил. А мог бы послать куда подальше.

— Может быть, вы и правы, лейтенант. Я просто устал. А усталый бунтует против всего, что требует действий. Вот мне, наверно, и не терпится это дело скорее закончить. Я пойду во взвод, посплю немножко. Разбудите меня, когда вернется группа преследования. А вдруг они Амбала поймут, — снова улыбнулся майор.

К утру небо затянулось тучами. И вскоре пошел дождь. Собаководы вернулись после обеда. Солдаты были усталые, промокшие, голодные. Но, не переодеваясь и не заходя в столовую, они отправились докладывать офицерам.

След Карзубого привел их на полянку возле большого болота. Там собаки взяли след Амбала. Но через десять-одиннадцать километров потеряли его. Солдаты заподозрили, что Амбал вернулся по своему следу до того места, где он близко подходил к ручью, и прыгнул в воду.

Разделившись на две группы, солдаты повели собак вверх и вниз по этому ручью, думая, что они найдут амбалов след там, где он вышел из воды. Скоро одна группа наткнулась на другой ручей, в который впадал первый. Солдаты разделились еще раз. Они прошли в обе стороны по второму ручью не менее пятнадцати километров. Но следа так и не нашли.

Одному из них пришло в голову, что, возможно, Амбал влез прямо из ручья на дерево. Однако проверить это предположение не удалось. Пошел дождь. Дальнейшие поиски стали бесполезны.

Офицеры задали солдатам несколько вопросов и отпустили их.

— Ну, вот видите, — сказал опер, показывая на кар-

ту. — С этой полянки ведут два следа. Один карзубов, а другой Амбала. Карзубый пошел сдаваться, а Амбал спрятался.

— Насчет Карзубого — ясно. А откуда Вы знаете, что Амбал ушел с полянки? — спросил майор.

— Это первое, что приходит в голову. Солдаты поняли всю ситуацию именно так.

— Но это не обязательно так. След Амбала мог вести не с полянки, а на полянку. То есть солдаты могли вести по амбалову следу так же, как и по следу Карзубого, не по движению беглеца, а навстречу ему.

— А как это вяжется с остальными данными?

— Все подходит. После смерти Полковника и Инвалида Карзубый и Амбал могли расстаться и договориться встретиться на нашей полянке (карта у них могла быть). Карзубый пришел туда раньше Амбала, еще во время первого дождя. Поэтому следа Карзубого на полянку у нас нет. Он смыт. Амбал же, пока шел дождь, успел дойти только до того места, где солдаты потеряли его след. Оттуда до полянки он шел уже после дождя. И потому часть его следа сохранилась. Встретившись с Амбалом, Карзубый мог повздорить с ним и убить его. Вам понятно мое объяснение?

— Вроде понятно. Только вот, уж Вы простите меня, оно мне не кажется убедительным. Слишком оно сложное.

— Что ж, спросим Карзубого. У нас есть две версии побега. По Вашей — оба имеющиеся следа ведут с полянки. Значит, следы на полянку смыты дождем. То есть беглецы пришли туда до или во время дождя. По моей — Амбал пришел позже.

— Карзубый, — спросил майор, когда они вошли в

камеру, — у нас к тебе еще один вопрос. На то место, где ты убил Амбала, вы пришли вместе или по одному?

Карзубый видел, что офицеры хотели запутать его. Он старался связать этот вопрос со своими ранними показаниями и не мог. Чтобы не попасть впросак, он решил молчать.

— Карзубый, — повторил майор, — ты слышишь меня? Вы с Амбалом пришли туда, где ты убил его, вместе или раздельно?

Карзубый неподвижно лежал на спине, не глядя на офицеров.

— Карзубый, если ты не ответишь... — майор повысил голос. Он хотел произнести привычную угрозу "ты навредишь себе", но удержался.

Карзубый понял, что майор угрожал ему. Его губы расплылись в насмешливую улыбку.

— А ты начальник, покажи, какой ты страшный. Сними штаны, пяться на меня раком и кричи "забодаю" ("козлы" или "бодливые козлы" было одно из названий педерастов).

Допроса не получалось. Офицеры вышли.

— Что вы теперь думаете о показаниях Карзубого? — спросил опер.

— Как Вам сказать? Лично я не вижу оснований сомневаться в их правдивости.

— Ну а что, Вы думаете, начальство решит?

— Я думаю, они будут рады снять солдат. Наше Управление вечно без денег — в бюджет не укладывается. Содержать сотни людей в лесу накладно.

— А если Амбал жив, и его поймают? Как они оправдают снятие постов?

— Ну что здесь сказать? Наверно, как и я, скажут,

что у них не было веских причин не верить Карзубому.

— А я ему не верю, майор. Мне кажется, что он обманывает: дорогу Амбалу расчищает. Амбал же вооружен и голоден. Он может многое натворить, если, сняв посты, мы оставим поселки беззащитными. Вы извините меня, что я действую против Вас, но я напишу о своих сомнениях в Управление.

— Это Ваше право, конечно. Но только Вы вряд ли что измените. Посты снимут в любом случае. Вы можете лишь затруднить начальству оправдаться, если действительно окажется, что Амбал жив и он натворит что-нибудь громкое сразу же после снятия постов. Коль Ваше мнение будет в деле, им тяжелей будет объяснить, почему они поверили Карзубому. А подводить начальство не стоит. Знаете, у всех есть свое правило, которому надо следовать, чтобы не было недоразумений. У заключенных это правило "не доноси". У нас — "не подводи".

Майор сказал, что ему надо подготовить к завтрашнему утру доклад о побеге. Он распрощался и, не дожидаясь ужина, улетел.

Опер не знал, следовать ли ему совету майора или нет.

Может быть, — рассуждал опер, — майор боится, что, если он пошлет начальству свои доводы оставить солдат в лесу, начальство примет его точку зрения и заставит майора поторчать еще какое-то время в тайге. Его собственная версия побега казалась оперу более правдоподобной, чем версия майора. Опер думал, что начальство обратит внимание на простоту и убедительность его доводов. Да и на него самого. Случай с Амбалом дает оперу возможность показать себя. Второй такой может и не представиться.

Но, с другой стороны, — спрашивал себя опер, — а что, если майор прав и начальство снимет посты, невзирая на его возражения? В этом случае, если его догадка, что

Амбал жив, окажется верной, начальство на него только обозлится. Он, как сказал майор, подведет их. И тогда ему уже не продвинуться.

И опер решил пойти на компромисс. Он сначала попробует убедить Карзубого изменить показания. И лишь если Карзубый скажет, что Амбал жив, он пошлет свои сообщения относительно побега.

В его распоряжении было, по крайней мере, дня три. Раньше, как он думал, начальство не соберется решать вопрос о постах. А за это время опер надеялся обработать Карзубого. Прежде всего надо будет его подкормить. С сытым Карзубым ему будет легче иметь дело, чем с голодным. И он послал за дневальным изолятора, который, согласно его планам, должен был дать Карзубому еду и оставить передачу так, чтобы у Карзубого не возникло подозрений, что еда поставляется ему оперативным отделом.

В повальном лагере больше всего ценились две привилегии: не работать на повале и не быть голодным. Зэки, занимавшие некоторые ключевые должности, имели обе. По общему мнению, на эти должности могли назначить лишь тех, кто оказывал важные услуги оперативному отделу. Их называли явными сотрудниками опера в отличие от секретных (тайных доносчиков). Дневальный изолятора была одной из таких должностей.

Как и другие явные сотрудники опера, дневальный изолятора сосредотачивал в своих руках значительную материальную власть. Он мог положить в печку какой-нибудь камеры лишнее полено (зимой в изоляторе замерзала вода), черпануть погуще баланды при раздаче пищи (норма питания в изоляторе была в три раза меньше обще-

лагерной) и, наконец, сунуть в кормушку табаку (в изоляторе запрещалось курить).

И дневальный иногда помогал попавшим в изолятор ээкам. Как правило, его подопечными были сильные и решительные заключенные, которым помогали и другие держатели подобных должностей. Они делали это, втайне надеясь, что когда-нибудь, во время очередной заварухи в зоне, влиятельный ээк вспомнит эту помощь и спасет их от мести лагерников.

Карзубый до болезни был одним из наиболее авторитетных заключенных. И поэтому он не удивился, когда в дверь его камеры тихонько постучали три раза (что значило "внимание!"), и затем в щели между полом и дверью зашуршала бумажка:

"Карзубый, тебе передача от бригадников. Пусть соседи отвлекут надзирателя во время ужина".

Общение между соседними камерами происходило либо перестукиванием, либо через кружку. Вторым способом пользовались гораздо чаще из-за его исключительной простоты. Говорящий прикладывал кружку отверстием ко рту и дном к стенке. Слушающий в соседней камере приставлял ее отверстием к стене и дном к уху. Начало разговора значило стук три раза. Конец — два.

Получив записку, Карзубый немедленно взял кружку.

— Привет, хлопцы. Я Карзубый. Кто на кружке?

— Привет, Карзубый. Это Красюк.

— Красюк, устройте хипишь при раздаче баланды.

Мне подогрев из зоны.

— Добро. (За хипишь полагалось поделиться с ним).

Когда во время ужина кормушка в камеру Карзубого открылась, в соседней камере забарабанили в дверь.

— Начальник, иди сюда. Здесь человек помирает.

— Чего орешь? Помрет — так похороним, — ответил

надзиратель, смешливый молодой парень из Белоруссии.

— Да ты гляди. У него уже пена изо рта пошла.

— А дыма из задницы еще нет?

— Тебе, шакалу, шутки шутить, а у него уже глаза закатываются.

И хоть обидно было Красюку, что мент не верил (а вдруг и вправду кто помирять будет, так и не помогут, волки), но обида тонула в радостном ощущении успеха задуманного предприятия. Посадили мента на вилы — не сорвется. Около нашей кормушки, как приделанный, торчит. Карзубый за это время не то что пачку махры, а и бабу по частям спрятать может.

— А вы его за уши подергайте, — отвечает надзиратель, — так глаза опять на место выплзут. Только не перепутайте: левое ухо для правого глаза, а правое — для левого.

Конечно, — думал он, — говорить с эзками удовольствия мало. Им обругать, как "милый мой" сказать. Они без "шакал противный" не завтракают и без "козел позорный" не ужинают. Но у него с ними здорово получается. Они и духом не ведают, что он всю их игру заранее знает. Если что у опера не выйдет, вины надзирателя в том нет.

А Карзубый в это время получал подогрев. Три пайки хлеба, пакетик с сахаром (бригадники, видно, весь день не ели — для него берегли; ведь хлеб и сахар лишь по утрам давали), махорка, газета на закрутки, спички. Все предусмотрели. Эх, хорошие хлопцы. У Карзубого защипало в горле. Других так не грели, только его. И он отвернулся, скрывая от дневального мокроту в глазах. А тот шепчет:

— Карзубый, я знаю, что ты обо мне думаешь. Ты думаешь, что волк я, сексот, что со мной и срать рядом сесть стыдно. А я помогаю людям. Втихаря. Тем, кому помогать стоит. Но они молчат, чтобы меня не подвести. И ты никому не говори. А то снимут меня. И другого волка поставят,

который, кроме как себе, никому помочь не захочет. Ты меня слушай. Тебя незаконно на изоляторном режиме держат. Ты следственный. Тебе следственный режим полагается. Пусть тебя кормят, как всех в зоне. Пусть радио тебе дадут, книги. Ты своего требуй. У этих шакалов все из глотки вырывать надо.

Карзубый еще не ел, а у него уже сил прибавилось. Ты смотри, как его помнят. А тут еще баланда густая, почти каша. Толстый кусок хлеба со сладким кипятком. Хорошо! А теперь закурить. Жаль, что нельзя развалиться и дымить в открытую. Мент увидит — махорку заберет. Надо ее в щели между досок рассыпать, а газету и спички к крышке параша изнутри прилепить. Так, может, и не найдут. Но чего он прячется! Ведь он же следственный, а не изоляторный. Ему курить можно. Правильно шнырь (дневальный) сказал. Он требовать должен. И забарабанил Карзубый в дверь.

— Начальник, меня на следственный режим перевести надо. Кормите меня каждый день, курить разрешайте.

А начальник в ответ:

— Ладно, сиди. Завтра разберемся — кто следственный, кто какой. Сиди тихо. А то и следственных в изолятор сажают.

Пусть разбираются. А он своего не упустит. Ох, волк, забыл. Красюка с покамерниками отблагодарить надо. Сахара он им, конечно, не даст. И без сахара хороши будут. А вот махорочки да кусок хлеба он им подкинет. Стук, стук, стук.

— Хлопцы, подогрев.

Как они обрадовались!

— Ты один человек, Карзубый.

Сейчас он им "коня" заделает. Старый тюремный способ из камеры в камеру через окно подогрев передавать.

И надо всего лишь палку и бечевку. Бечевку одним концом к концу палки привязать, а другим к узелку с передачей. Затем просунуть палку с узелком сквозь решетку и, держа ее, как удочку, раскачать узел. Когда в соседней камере увидят, как мимо ихней решетки узел вверх взлетел, они свою палку через решетку быстро вытолкнут и бечевка на ихнюю палку упадет. Теперь потяни за бечевку — и узел в руках.

Сколько Карзубый "коней" за свою жизнь переделал. Палку он из метлы смастерит, а бечевку из куртки — ее на нитки распустить легко. А на сверток другой кусок куртки пойдет. "Конь" уже в окне. Вот-вот они его поймают. И вдруг:

— Ты что у окна делаешь?

Это надзиратель. Влип Карзубый. Как последний осел. Сейчас мент войдет в камеру, увидит "коня" — и не видать Карзубому следственного режима, как красных роз на Черном море. А, может, еще отбрехаться можно.

— Да тошнит меня, начальник. Снова рвать тянет. Так я вот воздухом свежим подышать к окну подошел.

— Ты не очень там торчи. А то начальство увидит — сразу рвота пройдет, и изжога начнется.

— Да я сейчас, начальник. Мне уже лучше становится.

Не вошел в камеру. Вот чучело. Такого мента и пацан вокруг пальца обведет, а скажет, что по Москве прокатил. В жизни всегда так: если не повезет, то к проститутке пойдешь, а она родной сестрой окажется, а если уж повезет, то и лягушку подберешь, а она в принцессу обратится.

Сверток поймали. Стучат.

— Карзубый, век не забудем.

Может, кто из них действительно на какой пересылке про Карзубого расскажет. Как Карзубого в зоне уважали, как ему бригадники передачку заделали и как Карзу-

бый с другими поделился. Скажет он так, наверно:

— Из-за Карзубого просидел я тогда в изоляторе, как король на именинах — махорка в щелях рассыпана была и пайка на окне аж до вечера оставалась.

Утром Карзубому сказали, что его перевели на следственный режим. И дневальный принес ему завтрак: хлеб, суп, кашу и пятнадцать грамм сахара. Суп был густой, каши много. Когда надзиратель на минутку отошел, дневальный успел шепнуть Карзубому, что повара, узнав кому предназначался завтрак, дали гуще супа и положили больше каши.

— Все тебя помнят, Карзубый. Приветы передают. Меня так помнить не будут.

И от завтрака, и от его слов стало Карзубому хорошо. Раз он следственный, то поставили ему радио, книгу дали. Потом, по его просьбе, журнальчики принесли. Чудеса прямо. Все, что ни попросит, тут как тут.

Женщины в журнале красивые. Особенно одна студентка. Она коленку так отставила, что глаз оторвать нельзя. Эх, освободиться бы Карзубому! Хотя бы раз в жизни освободиться.

Он вспомнил женщину, поцеловавшую его. Нет, если его сейчас освободят, он к ней даже и не зайдет. У нее муж есть. Но письмо он ей написал бы. Что, мол, помнит ее и не забудет.

Он бы на юг поехал. Там какую-нибудь деваху бы подцепил. Сели бы они ночью на берегу моря, и он рассказал бы ей про себя. Нет, не про себя. Хвалиться неудобно. А о своей жизни, но так, чтобы она поняла, с кем дело имеет.

Какой он храбрый. Раз на него двое с ножом кинулись. А он встал им навстречу, рубашку на груди разорвал, грудь голую подставил и сказал: "Ну, бейте, гады. Только не про-

мажьте. А промажете, я бить буду”. Один, который впереди был, ударил. Карзубый даже не шелохнулся. Тот в сердце метил. Но сверху бил, и нож в ребро попал. Вот рубец у него прямо на соске. Вырвал Карзубый нож и на них. А они бежать. В окно. Раму на себе, волки, вынесли, жизнь свою подлюю спасая. А вообще, он редко нож в руки брал. Больше на силу и быстроту своих рук полагался.

А какой он ловкий. Как-то в побеге наткнулся он на ментов. Они его к бурелому прижали — в полкилометра полоса поваленных деревьев. Все там перепутано: сучки, вершины, комли. Птица, казалось, не пролетит. А Карзубый пошел. Пули над его головой свистят. А он со ствола на ствол, с вершинки на вершинку. Они гнутся под ним, качаются. Но ноги будто сами его несли. Не промахнулись ни разу, не поскользнулись. Менты за ним было. Но куда им — кишка не та. Пересек он бурелом на одном дыхании. А когда назад посмотрел, то и не поверил, что ему удалось это сделать.

Боль в печени вернула его в камеру.

Нет, поздно ему мечтать. И если бы освободился, то все равно до юга не успел бы добраться. Отплясал свое, Карзубый, отпрыгался.

А вот если бы снова жить начать. Певцом он бы мог стать. Говорят, голос у него был — баритон. Он все лагерные песни помнил и пел хорошо. И был бы большой зал. И Карзубый в черном костюме с белой манишкой. Поет. И люди встают, хлопают — еще просят.

Снова боль.

Мать хотела, чтобы он доктором был. Нашел бы Карзубый лекарство людей от рака лечить. И вот идет он по палатам. Сам в белом халате, и все вокруг чистое, белое. А детишки в палатах и женщины, которых он вылечил, улыбаются Карзубому, спасибо ему говорят.

Эх, изобрел бы какой волк это лекарство и дал бы его Карзубому.

А то бы еще банк грабануть. Один раз — и на всю жизнь. Вот он с напарниками в банке. Деньги пачками на полках лежат. Менты подоспели — стреляют. Карзубый с деньгами через окно и в машину. Около моста он на ходу под откос выпрыгнул, а машина с моста слетела в речку. Все думают, что Карзубый утонул, а он кустами по берегу к поезду пробрался. Напарников убили. Но нет худа без добра: деньги делить не надо.

А хорошо тоже домой с работы приходиться. Куртка через плечо. . навстречу ему сынишка бежит, ножками шустро перебирает, "Папка!" — кричит. И жена у калитки стоит, Карзубого ждет.

Так весь день мечтал Карзубый и ел. А рано утром следующего дня, еще до подъема, Карзубого и других эков, уснувших благодаря освежающему утреннему ветерку, разбудило радио.

Радиозел находился за зоной. В самой зоне — в бараках и на столбах — висели только радиопрепродукторы. Заключение не могли ни включить, не выключить радио, ни отрегулировать громкость передач. Все управление находилось в радиозеле, в котором хозяйничали радисты-солдаты.

Обычно лагерное радио работало два раза в день по пятнадцать-двадцать минут. Утром с подъемом, как дополнительный сигнал, что надо вставать, и вечером, после работы, для ознакомления эков с последними известиями. Но сейчас эта рутина была нарушена.

По радио ласковым голосом пела женщина о ссоре с мужчиной. О том, как он сидит понурившись и молча курит. Она видит, как ему тяжело. И ей хочется помириться с ним, приласкать его, сказать ему, что, несмотря на ссору, им еще удастся быть счастливыми друг с другом.

Солдаты только вчера купили эту пластинку. Они сами по году и больше не видели женщин. И их взволновал голос певицы и описанная в песне сцена домашней жизни. За неразрешенную передачу солдат могли наказать. Но желание разделить свое волнение от песни с другими мужчинами, так же, как и они, мечтающими о женщине, подавило страх перед возможным наказанием. И они пустили пластинку по лагерному радио.

В бараках было светло от незаходящего летом северного солнца. Заключенные, приподнявшись на локтях, как замороженные, уставились в репродуктор, откуда их ласкал женский голос. Кто-то ударил кулаком по стене и заорал: "Шакалы позорные, подлюги противные". На него прикрикнули: "Молчи, волк. Чего расчувствовался".

Карзубый был один. Ему не надо было сдерживать себя перед другими. И когда женщина в песне назвала мужчину: "Мой родной", он заплакал.

Сначала он оплакивал неосуществленную мечту о женщине, затем и всю свою загубленную жизнь. Он поднялся и начал ходить по камере, тихо напевая лагерные песни, в которых описываются страдания заключенных (как их расстреливает конвой, морят голодом в изоляторах, заживо хоронят в шахтах, морозят в лесу).

В это время в надзирательскую изолятора позвонил опер.

— Ну, как там Карзубый? — спросил он.

— Недавно плакал. А теперь из угла в угол мотается и что-то воет — поет, наверное.

— Уже поет! Я сейчас там буду.

— Карзубый, — начал опер с перехватывающимся от

волнения голосом, — я знаю твое отношение к ментам. Знаю, что ты никогда в жизни не входил с ними ни в какие сделки. Но несмотря на это, я пришел попросить у тебя помощи. Мне нужна она, чтобы добиться того, о чем мечтает каждый заключенный. Ведь если развести зэков по разным камерам и спросить их, какое самое большое зло на земле, они скажут одно и то же: "Лагеря". Я хочу их уничтожить. Моя первая просьба к тебе — выслушай меня.

— Ты хорошо говоришь, начальник. Чего ж не слушать.

— Я бывший зэк. Я понимаю, что ты можешь подумать: "Подлый мент, на все идет, лишь бы своего добиться". Но я не вру. Я действительно был заключенным. Меня арестовали тогда же, когда и тебя. Я был всего на год тебя старше. Мы ведь с тобой земляки и сидели в одной тюрьме для малолеток. Я был в камере один-восемь-три. Меня звали Промотом. Ты помнишь, мент нассал Кольке Тиграшу в лицо, и он повесился. Мы устроили хипишь. И нас загоняли в боксик железными прутьями. Смотри — вот у меня рубец на спине.

Опер задрал гимнастерку.

— Ну, и как же ты ментом стал? — помедлив, спросил Карзубый.

— Сейчас скажу. Мне повезло больше, чем тебе. Я освободился. Я думал, что смогу жить, как все: найти бабу, приходить с работы, болтать с соседями, играть в домино. Но я не смог. Я ненавидел всех и все вокруг себя. Всех, кто не сидел, и всех, кто освободился. Я любил только тех, кого оставил в лагерях, и то, что мне напоминало тюрьму или лагерь.

Мне казалось, что я никогда не смогу отделаться от лагерей, что до конца своих дней я так и буду заключенным. И моя комната была похожа на камеру. В ней были

лишь стол, стул и брошенный на пол матрац. И ел я, в основном, то, к чему привык в лагерях: хлеб и кашу. И я решил отдать все свои силы, чтобы помочь энкам.

Я печатал листовки и по ночам разбрасывал их. Я писал, что на повале (тогда меня больше всего волновал повал) заключенные обычно за пять-шесть лет умирают и перед смертью с них еще от пеллагры лезет кожа. И почему, — спрашивал я, — содрать с живого кожу называется живодерством, а кормить сотни тысяч так, что у них кожа сама слезает, считается нормой. Я описывал, как заключенных выводят на работу в пятидесятиградусные морозы в одеждах, не рассчитанных на такой холод. Я говорил, что обычно в таких случаях двое-трое хватают воспаление легких и умирают, что развод в любую погоду является принятым в лагере порядком и что разница между признанным злодейством — выставлением на мороз голого человека — и принятым порядком — выведением в мороз на работу полураздетых людей — состоит только в том, что голый умрет через несколько часов, а полураздетый — через неделю.

— Ну и что люди?

— Молчали. Я писал, что каждая деревянная вещь — от детских игрушек до домов — покрыта кровью заключенных. И поскольку все ими пользуются, то у людей есть только два пути: либо протестовать против убийства энкам, либо соучаствовать в нем.

— Ну и что они?

— Ничего. Вероятно, люди рискуют жизнью только за свои интересы. Заключенным они могли лишь сочувствовать. Но даже если бы они и хотели протестовать, все равно они бы не смогли ничего сделать без организации. Но тогда я не понимал этого. Я думал, что все молчали только потому, что были запуганы. И мне показалось,

что своими рассказами об ужасах в лагерях я не побуждал людей протестовать, а, наоборот, запугивал их еще больше, то есть помогал нашим мучителям.

Что было мне делать? Был бы я бомбой, я бы взорвал себя вместе со всеми кремлевскими крысами. Но я мог только бродить по улицам и сходить с ума от бессилия и ненависти. Жизнь стала безразлична мне. И я в открытую говорил, что был бы рад разменять себя хотя бы на одного гада в Кремле. Я не знаю, почему меня не арестовали. Иногда слово скажешь — и на доносчика нарвешься, а иногда болтаешь, как сорока, — и ничего не случается.

И как-то раз высказал я все, что у меня на душе было, одному человеку. Люди меня обычно сторонились, когда я свое плел. А он не испугался — позвал меня к себе и спросил, хочу ли я за болтовню жизнь свою погубить или готов более толково ею распорядиться. Я от радости задрожал и сказал, что на все готов. Мне повезло. Этот человек оказался не ментом.

— Ну и что дальше?

— Он убедил меня, что я зря отчаивался. что путь к изменению страны существует. Только он совершенно отличен от того, каким действовал я. Листовки эффективны лишь там, где можно организовать людей. У нас это недостижимо. Правительство содержит слишком много шпионов и с их помощью уничтожает своих соперников еще до того, как им удастся узнать друг друга. Поэтому тем, кто хочет изменить жизнь людей, остается одно — действовать через само правительство.

— Как это? Прощения этим волкам писать?

— Нет, проникнуть в правительственные учреждения и занять там ведущие посты. Этот человек сказал мне, что многие его единомышленники уже начали пробиваться наверх в армии, партии, министерствах и что через двад-

цать-двадцать пять лет они будут править страной. Я поверил ему, взял другое имя, изменил внешность и пошел работать в эту систему.

— Ну и что вы сделаете, когда власть будет ваша?

— Прежде всего уничтожим лагеря и их последствия — северные города.

— А города-то зачем? Они, конечно, на наших костях стоят. Но теперь там люди живут.

— Да не выгодны они. Но в этом у нас боятся признаться. Нам хочется верить, что мы не зря погибали, а им страшно сказать, что они зря убивали. И потому существует этот миф, что север позарез необходим и его освоение — одна из величайших заслуг этой власти. И растут эти города, развиваются.

— А чего там невыгодного?

— Да ничего там своего нет. Все везти надо: каждую крупинку, каждую картошину, каждый кусок сахара. Не привези еды вовремя — и люди с голоду умрут. Зимой в тайге жратвы нет. И везти надо издалека и по тяжелой дороге. Предположим, стала машина зимой. Сколько часов шофер продержится на сорокаградусном морозе? Сейчас на севере заводы и парники стали строить, чтобы оборудование и кой-какие продукты не привозить. Так это еще дороже. Ведь там здания по десять-одиннадцать месяцев в году отапливать надо. Топлива не напасешься. Ну, введи завтра капитализм с рыночными ценами на нефть — и север закрывать придется. Все разбегутся, чтобы от голода и холода не погибнуть. И останутся стоять пустые города как памятники тому, что мы с нашим народом натворили. А пока мы грабим теплые края, чтобы север содержать. И те, кого мы грабим, волнуются. Так мы недовольных сажаем и на север шлем.

— А зачем же туда посылать начали, раз все так ясно, что выгоды от севера нет?

— Получилось так. Сразу после революции правительство в Москве и Петрограде не стойко себя чувствовало, опасалось, что его сбросят. Ну и сослали они в провинции тех, кого боялись и кто мешал им порядок установить: политических соперников и уголовников. Тогда местные власти взвыли: Москва со своими баламутами справиться не смогла — к ним прислала. А они сами еле держались. Тут еще столичные политические против них крестьян настраивать начали, а уголовники всех грабить. Кое-где уже бунты вспыхнули. Местные власти к чекистам за помощью обратились. А чекисты больше всех переворота боялись: при любой заварухе их бы первыми на соснах вздернули. Ну и отправили они политических и уголовных, куда и медведь с опаской ходил. А сосланным есть надо — не подыхать же. Они начали еды у местных властей просить. У тех у самих не густо, давать нечего. Так сосланные, чтобы хоть что-нибудь получить, стали прибыль обещать. Говорили, что северные края самые богатые, что их развить надо: открыть рудники, построить заводы. Только хлеба шли. Местные власти в надежде получить усиленное снабжение (включая хлеб) от центрального правительства, поддержали сосланных. Так и пошло. А позднее образовалась лагерная бюрократия, жизнь которой (работа и зарплата) зависела от существования лагерей. Эти уж своего не упускали — любое событие в стране для расширения лагерей использовали.

Опер замолчал. Он смотрел на Карзубого, ожидая, что тот скажет.

Заключенные обычно не сомневались, что освоить север было необходимо. Некоторые даже гордились своим участием в его развитии и считали, что страна должна быть

благодарна им за этот вклад. Если иногда и возникали споры по этому вопросу, то только о методах освоения севера — стоило или не стоило губить ради него миллионы жизней.

Точка зрения опера, что север не доходен, а убыточен и что его необходимо не развивать, а свертывать, была совершенно новой для Карзубого. Также новыми были для него слова опера, что лагеря возникли не по плану правительства (как обычно считали заключенные), а были результатом борьбы за выживание разных групп: центрального правительства, местных властей, администрации лагерей и самих заключенных. И подавленный здравым смыслом и эрудицией опера, Карзубый спросил:

— Ну и что же ты хочешь? Чем я могу тебе помочь?

— Я уже говорил, что мне надо в начальство выбиться. А это трудно. Я до сих пор привыкнуть не могу, что менты моими сослуживцами стали. И хоть учился я в ихней школе и старался всеми силами с ними спеться, но они остались для меня ментами. И поскольку я их ненавижу, а скрывать это надо, то отношусь я к ним неровно: то льщу, то грублю. Не вовремя спорю, и не вовремя соглашаюсь. В общем, чужой я им. А продвигают обычно своих — тех, с кем легко. И потому не подняться мне, как другие поднимаются. Мне надо показать, что я лучше других, что я умный, старательный, за дело болею. И сейчас такая возможность есть. Они приняли на веру твои показания, что Амбал убит. А я говорю, что он жив. Если ты меня поддержишь, мне посчитается.

— Зачем я тебе нужен? Амбал сам подтвердит, что он жив. Поймают его или натворит он что-нибудь.

— Ты прав, но мне это не поможет. Если я буду настаивать, что Амбал жив, а они, несмотря на это, снимут посты и потом поймают Амбала, моя прозорливость пойдет мне

не в доход, а в убыток. Их наверняка спросят, почему они раньше времени посты сняли. И у них один ответ: ошиблись, мол, никто не думал, что Карзубый обманывает. Сейчас такое оправдание легко принять. Я им только на словах свое доказывал, письма не писал. А то, что на словах, не считается. Если же я письмо напишу (а чтобы показать себя, писать надо) и письмо в дело положат, то им придется объяснить, почему они меня не послушали. Накажут их тогда. А они мне этого не простят. Пропишут меня здесь до конца ихней власти. Не подняться мне. Если же ты показания изменишь, то посты останутся на месте, и я окажусь самым толковым.

— Так, значит, чтобы тебе в начальство выбиться, Амбалом пожертвовать надо.

— Ты ведь сам говорил, что его все равно поймают.

— И верно, поймают — куда он денется?

— Ну, так как?

— Добро. Приходи вечером. Приготовь протокольки. Тебе ж письменные показания нужны. Ну, мы их по всей форме и подпишем. А сейчас я устал. Да боли опять начались.

Опер был опьянен успехом. И он решил рискнуть — послать телефонограмму по поводу Амбала прямо сейчас. Будет лучше, если начальство узнает его мнение хотя бы за день до того, как Карзубый изменит показания. Карзубый подпишет протоколы сегодня вечером, а он датирует их завтрашним числом. Как раз день и получится. И опер послал телефонограмму.

Сразу после ужина он пришел в камеру к Карзубому с приготовленными показаниями. Карзубый одобрил их.

— Хорошо написано. Все, как надо. Вот только просьба у меня к тебе есть. Помнишь, утром ты просил, чтобы я тебя выслушал. Теперь ты меня послушай.

— Ты что же, подписать не хочешь? — взволновался опер.

— Слушай, что я скажу. Я знаю, что ты не настоящий опер, что ты им стал, чтобы экам помочь. Но ведь другие не знают. Для всех ты мент. И если я изменю показания, и Амбала потом заловят, то скажут в зоне, что я оперу продался.

— Подожди, Карзубый. Я закон тоже знаю. Ты не обязан был говорить, что убил Амбала. Никто от тебя этого потребовать не может.

— Ты прав. Не показал бы я с самого начала, что он убит, никому бы и в голову не пришло упрекнуть меня, что ради амбалова спасения я труп на себя не взял. Но показания уже даны. И ты просишь меня изменить их — и не в пользу Амбалы, а против него. Ты сам понимаешь, как эки объяснят такое изменение: только тем, что я с тобой спелся.

— Да не узнают они об этом.

— Ну как не узнают? Ты ведь бывший эк. Разве такое от них скроешь! А чего ты так беспокоишься? Найдешь другой случай показать себя.

— Да я уже телефонограмму отправил, чтобы они постов не снимали.

— Поторопился ты, начальник. Не договаривались мы так.

— Постой, Карзубый. Что тебе до людей? Они то одно говорят, то другое. Не угодишь на них.

— Это верно, что не угодишь. Но вот они меня кнокают... — Карзубый хотел сказать, что заключенные его помнят, что они ему передачку от своей пайки заделали, но

осекся, вспомнив, что перед ним был опер. — В общем, умираю я. И надо мне знать, что меня хоть кто-то добрым словом вспомнит. Ведь родни-то нет.

Опер понял, что Карзубый хотел похвастаться передачей. И он не знал, сказать ли Карзубому, что он сам эту передачу подстроил. Решил не говорить. Карзубому наверняка не понравится, что им так играли.

— Да выручи ты меня сейчас, — сказал опер, — и я тебя всю жизнь вспоминать буду. А когда лагерей не будет, то книгу о тебе напишу, как ты людям помог.

— Думал я об этом. Может, действительно ты обо мне написал бы, если бы я показания изменил. И кто-то эту книгу прочитав, может, и похвалил бы меня: смотри, мол, Карзубый, чтобы другим помочь, перед смертью на себя позор принял. И, конечно, приятно думать, что люди, которых ты и в глаза не видел, о тебе хорошо говорить будут. Но мне, начальник, куда важней, что обо мне те скажут, с кем я жил, работал, ел. А они ведь никогда не узнают, зачем показания менять надо. Изменяю я их — и будут называть меня в лагере сексотом, падлой, курвой. И этого я не могу вынести. И как бы ты ни просил меня помочь тебе, ничего у тебя не выйдет. Уж ты прости меня.

Надо же так чертануться, — ругался опер, запершись у себя в кабинете. — Исповедаться он к этой гниющей образине пришел. Союзника искать надумал. Вместо всех этих речей надо было пообещать ему, волку, свободу (освобо-жу, мол, если поможешь), наврать ему, что на Черном море больничка есть, где цирроз лечить начали (помоги — и я устрою туда). И клюнул бы Карзубый на эту мякину. Как пить дать клюнул.

Как только послал он телефонограмму, — сокрушался опер, — выпустил он судьбу из своих рук. От других она зависеть стала. Сейчас Амбал ее держит. А ему осталось только Бога молить, чтобы Амбал из леса без шума смотался.

Вертолеты, которые обычно спускали солдатам припасы, на этот раз забрали солдат.

Посты сняли, — забилося сердце Амбала. Но тут же закралось подозрение. Вдруг менты нарочно снятие постов разыграли, чтобы выманить его. Если он выйдет, то его засекут и погонятся за ним по следу. А в сухую погоду от погони не уйдешь. И Амбал думал отсидеться в лесу до дождя. Тогда он в любой магазин спокойно зайдет, возьмет, что нужно, и — поминай, как звали. Дождь следы смое.

Но день шел за днем, а дождя не было. Постепенно терпение Амбала стало иссякать. Когда солдаты караулили его, Амбал не видел другого выхода, как только ждать. Поэтому все трудности нахождения в лесу он переносил без ропота. Глядя из укрытия на ментов с автоматами, он думал, что скорее умрет с голоду, чем выйдет под ментовские пули. Он ел лягушек, искал грибы, раз заловил змею. Сейчас, когда менты улетели, Амбал не видел немедленной опасности от солдат. И те же самые трудности стали казаться ему непереносимыми. Теперь он считал, что умереть от пули лучше, чем от голода. И Амбал решить выйти, не дожидаясь дождя.

Конечно, он будет осторожным. В деревню идти нельзя — увидят. Зверей также стрелять нельзя — услышат. Осталось у дороги засесть и ждать, пока кто-нибудь не появится в лесу с лошастью, с собакой или еще чем-то, что для еды годится.

Утром следующего дня выехал мужик на телеге. Амбал знал, что нападать лучше сзади. Люди скорее теряются, когда их неожиданно со спины пугают. Но сейчас он боялся пропустить телегу впереди себя. Вдруг возчик погонит лошадь, а Амбалу стрелять нельзя. Если же возчик ускачет, он наверняка расскажет, что бандюгу встретил. Нужно, — думал Амбал, — спереди напасть, чтобы в случае чего лошадь под уздцы схватить. Только бы у него ружья не было, — повторял про себя Амбал.

Возчик увидел, как у обочины дороги выросла черная фигура человека с автоматом в руках, и услышал крик. — Стой, падло, стрелять буду.

Возчик резко потянул вожжу и, направив лошадь на человека, хлестнул ее. От толчка оглоблей тот выронил автомат и свалился на землю. Схватив топор, возчик бросился на упавшего. Амбал успел вскочить и поднырнуть под руку с топором. Топор, не встречая сопротивления, проскользнул за его спиной и вылетел из рук мужика.

Оба упали. Амбал оказался наверху. Мужик в отчаянии схватил зубами насевшего на него человека. Резкая боль в ухе. "Откусил, паскуда", — подумал Амбал и со злобой вцепился оставшимися у него боковыми зубами в нос мужику. Почувствовав соленый вкус крови, он жадно сглотнул ее. "Еще, еще", — просил голодный желудок. Ну, вот и горло. Амбал давил на него до судороги в пальцах. Возчик обмяк, не шевелился.

Чуть придя в себя, Амбал взвалил тело возчика на телегу и повел лошадь с дороги, помогая ей продираться сквозь подсад и кустарник. Подойдя к овражку, заваленному сучками и валежинами, он остановился. Туда можно и черта засунуть, — подумал Амбал, намереваясь убить лошадь и спрятать ее, телегу и возчика в овражке. Но убив убитого, он изменил свои планы.

В телеге была еда, шкатулочки и засушенные на нитке грибы (вероятно для продажи в городе). В карманах возчика — документы и немного денег. А что если он сухарнет-ся с возчиком и вместо него в город поедет.

Одежду возчика на себя. Свою морду сделать хоть чуть на возчицкую похожей. У того борода, как у татарина, только на подбородке росла. Бритву смастерить недолго. Разломать подошву сапога. Там металлическая пластинка — супинатор. Загнать ее на камне — и волосы со щек можно содрать. А теперь назад к дороге.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПЕРЕСЫЛКА

Труп возчика нашли только через месяц. Поиски затянулись, поскольку начали искать его не сразу, когда найти было легко по следу, а спустя несколько дней, когда его след уже выветрился. Первые дни никому и в голову не приходило, что с возчиком случилась беда. Все думали, что он в городе. Уезжая из деревни, он говорил, что пробудет там около недели.

По данным комиссии, возчик был убит через несколько дней после снятия постов, карауливших сбежавшего заключенного Амабала. Поэтому оперу казалось, что каждый, знающий историю этого побега, придет к выводу, что убийцей был Амбал и что, если бы солдаты остались в лесу, убийства бы не было. Теперь, — рассуждал опер, — будет расследование о несвоевременном снятии постов. С начальства спросят, почему простой опер понял лучше их, что надо было делать. И карьера его наверняка будет кончена. Ну, система подлая, — возмущался он, — он же здравый совет дал и ему же расплачиваться придется именно потому, что совет оказался верным.

Крушение карьеры значило для опера крушение всего, ради чего он жил последние годы. Он мечтал, захватив вместе со своими единомышленниками власть, вывести людей этой страны из состояния материальной бедности и политического бессилия. Сейчас ему казалось, что он не сможет быть одним из тех, кто будет менять жизнь людей.

И он понял, что личное участие в совершении этих изменений было ему так же важно, как и сами изменения. Если не больше. Мысль, что его осторожные и талантливые единомышленники добьются желаемых перемен и без него, лишь немного уменьшала боль от его личной неудачи.

Он уйдет из лагерной системы. Он не видел смысла продолжать носить ненавистные погоны. Только нужно будет занять себя, — планировал он, — чтобы как-то забыть-ся от раздражающей его ненависти к режиму. Он будет много и тяжело работать и все, что у него останется от зарплаты (себе, кроме каши и хлеба, он почти ничего не покупал), посылать в детские дома. А в свободные вечера он будет навещать росших без родителей детей, играть с ними, заниматься спортом.

Но опер думал, что помощь детишкам захватит его только на то время, пока он будет с ними. Лишь только он очутится один, его снова будет мучить одиночество (единомышленники не общались друг с другом из конспирации, а с другими людьми он не мог ладить). И снова он будет жить, как и до того, как он присоединился к движению. Снова будут лихорадочные хождения по улицам и бессонные ночи.

Это Карзубый подвел его, — вспомнил опер. — Обещал изменить показания и не изменил: пришло ему, волку, в голову, что заключенные будут его меньше уважать, если он подтвердит, что Амбал жив.

Ирония судьбы, — горевал опер, — его собственная тактика против Карзубого обернулась против него самого. Карзубый поверил дневальному изолятора, что эски передачу ему от своей пайки заделали, и загордился. Испортить бы ему кайф сейчас. Сказать бы ему правду, что хлеб и сахар он не от бригадников, а от опера получил. А то несправедливо получается: из-за его вранья мужик убит,

баба вдовой и трое детей сиротами остались, у самого опера жизнь изуродована, а этот козел червивый доволен — думает, что все его любят и уважают.

Опер спросил по телефону, где находится Карзубый. Ему ответили, что после суда (суд вынес вышку за убийство солдат) Карзубый сидит в пересыльной тюрьме Управления и ждет этапа. Возьмут его, наверно, сегодня вечером.

Пересыльная тюрьма, как и другие управленческие учреждения этого края, находилась в шестидесяти километрах от того лагеря, в котором работал опер. Если выехать прямо сейчас, — рассуждал опер, — он попадет туда задолго до вечера. Хорошо бы разъяснить этому гаду, кто ему хлеб передал, а заодно и с начальством поговорить.

И вдруг совершенно новая мысль пришла к нему. А что если начальство вместо того, чтобы наказать его за телефонограмму, наоборот, оценит его здравый смысл, а накажет майора за неправильный совет. Ведь все его страхи, что его карьера загублена, возникли лишь в результате разговора с майором, рекомендовавшим оперу не требовать задержания постов. Правда, в одном майор оказался прав: начальство сняло посты несмотря на его телефонограмму. Майору, вероятно, удалось убедить их. Но теперь-то ясно, что майор ошибался, а он был прав. В любом случае, он должен ехать и выяснить все на месте. И опер вызвал шофера.

Шоферами в лагерях, как правило, были эки-мало-срочники, получившие от администрации право выходить из лагеря без конвоя. Быть бесконвойным считалось серьезной привилегией, за которую заключенные были готовы всячески услужить начальству. Эки помогали им даже по хозяйству: кололи дрова, красили дома, убирали дворы.

Хотя офицерам не было необходимости благодарить бесконвойников за эти услуги, они порой давали им какую-

нибудь мзду: кусок хлеба, миску каши, а иногда и запрещенные в зоне чай и одеколон (водки не хватало и для вольных). В лагере все знали, что опер щедро оплачивал любую помощь. Предположив, что опер был лично заинтересован в поездке, шофер радостно затараторил.

— Да у меня, начальник, машина завсегда готовая. Мы туда к вечеру, как штык, доедем, а не доедем, так долетим. Ведь чтобы долететь, много не надо. Залей в машину горючего — и она, как зверь, а в шофера — и она, как птица. Вот во время войны...

— Ладно, — перебил его опер, — держи. И он дал шоферу флакон одеколona и банку рыбных консервов. — Вези быстрее. Только выпьешь по возвращении.

Когда опер сел в кабину полуторки (повальные лагеря не держали легковых машин; грузы и людей перевозили грузовиками), он думал, что шофер заболтает его. Но, к его удивлению, обычно разговорчивый водитель на этот раз молчал. Задав шоферу несколько вопросов и получив в ответ невразумительное мычание, опер погрузился в размышления о своем будущем.

Что с ним сделает начальство, — гадал он, — погубит ли его карьеру или, наоборот, продвинет. Оперу не хотелось оставаться со своими сомнениями до завтра, хотелось разрешить их сегодня же. Он верил, что легко поймет, как начальство к нему относится по тому, как они его встретят: обрадуются ли они ему или будут тяготиться его присутствием. Времени для этого много не надо, — думал он, — несколько минут, и все будет ясно.

Если не случится аварии, он доберется до управленческого городка за час до закрытия учреждений. Рабочий день кончался в пять. От его лагеря до города было шестьдесят километров. Они выехали в два часа и ехали со ско-

ростью тридцать километров в час. Значит, они прибудут в четыре.

Опер знал, что такая скорость считалась опасной для лагерных дорог в это время года и что без его просьбы шофер бы не ехал так быстро. Хотя, по его подсчетам, он имел запас времени, опер не приказывал сбавить скорость. Он побаивался, что начальство может уйти раньше пяти. Лучше рискнуть, чем опоздать, — говорил опер себе, — трус в карты не играет.

В лесу вплоть до глубоких морозов пользовались летними дорогами. Они были деревянными и возвышались до полутора метров над землей. Ездить по ним всегда было нелегко, но в этот период — особенно. Из-за перемежающихся дождей и заморозков поверхность дорог покрывалась тонкой корочкой льда. От каждого не совсем плавного прикосновения к рулю, акселератору или тормозу машина юзила.

Но несмотря на гололед шофер благополучно провез опера более пятидесяти километров. И опер почти уверился, что они доедут без приключений. Занятый своими мыслями, он не смотрел на шофера. А шоферу было плохо.

Ему очень хотелось спать. Он знал, что в таких случаях надо было остановить машину и вздремнуть на несколько минут или, по крайней мере, начать петь или говорить. Но шофер боялся открыть рот. Он выпил одеколон, данный ему опером, хотя обещал не пить до конца дороги. Как только он скажет слово, — думал шофер, — опер по запаху поймет, что он пьяный.

Несколько раз он клевал носом в баранку и в ужасе вздрагивал, когда ему казалось, что машина дергалась. Страх перед аварией пробуждал его, но вскоре голова снова клонилась вниз. Наконец, шофер забылся и на мгновение пришел в себя, когда машина ткнулась передком

в торчащий у дороги пенёк. Он ударился о руль и потерял сознание.

Опер, в отличие от шофера, успел подготовиться к удару и не повредился. Когда он вытаскивал шофера из кабины, он почувствовал сильный запах одеколона.

Так вот почему он молчал, скотина, — разозлился опер. Но вскоре его досада на шофера прошла. Опер подумал, что он еще успеет увидеть начальство. До поселка оставалось не более восьми километров, а до закрытия учреждений было почти полтора часа. Он добежит, а, может, кто-нибудь подбросит его на попутной машине.

Опер нашел лужу, пробил сапогом корку льда и, набрав в фуражку воды, облил лицо шофера. Шофер открыл глаза. Взглянув на опера, он сообразил, что тот знает, что он выпил.

— Да я не виноват, начальник. Я пьяный машину лучше веду. Будь я трезвым, мы бы по такому льду и ста метров от лагеря не отъехали. Меня, не как других шоферов, меня трезвого штрафовать надо.

— Ты будь здесь, — сказал опер, — а я в город пойду, трактор пошлю машину вытянуть. Только ты хвою пожуй, чтобы запах забить, а то от тебя, как от парфюмерной фабрики несет.

По тону опера шофер вывел, что его не накажут. На радостях он хотел еще что-то сказать, но опер, не слушая его, повернулся и побежал лесом.

Через три километра он наткнулся на затянутое льдом мелкое болотце. Пришлось вылезти на дорогу. Он старался идти быстро и по ней, хотя ноги расползались по обледенелым бревнам и мышцы ныли от напряжения. После километра такой ходьбы опер вымотался и потерял осторожность. Поскользнувшись на незакрепленном бревне, он неловко свалился в холодную воду болотца.

Когда он вылезал на дорогу, он почувствовал боль в руке. Он сжал ее — в пальцах не было силы. Перелом, наверно, — решил он. Голову саднило. Он коснулся лба рукой. На ладони осталась кровь. Ругаясь, он двинулся дальше.

Опер пришел в управленческий городок без пятнадцати пять. Время увидеться с начальством еще было. Но он не захотел идти в Управление в таком растерзанном виде. Ничего, — утешал он себя, — и утром поздно не будет. А вот с Карзубым завтра поговорить не удастся: сегодня его должны увезти. И отдав распоряжение в тракторный парк подобрать шофера и машину, опер двинулся к пересыльной тюрьме.

Приговоренные к смертной казни обычно сидели отдельно от остальных заключенных. Если других смертников не было, их помещали в одиночку. Карзубый сидел один. В его камере было темно, и опер с трудом разглядел фигуру человека, сидевшего в углу.

— Карзубый, — позвал он.

Фигура шевельнулась.

— Ты помнишь, — сказал опер, — я просил тебя помочь — показать, что Амбал жив. Ты обещал. Рассчитывая на твое обещание, я послал телефонограмму, настаивая в ней на задержании постов. Но ты отказался выполнить обещание. Ты посчитал, что сотрудничество со мной испортит тебе репутацию среди тех заключенных, которые будто бы собрали тебе передачу. Ты не говорил среди кого — не хотел в моем присутствии упоминать, что у тебя была передача, но думал так. Сейчас стало ясно, что твой отказ ломает мою жизнь. Амбал нашумел: убил человека, троих детей сиротами сделав. Со дня на день его поймают. С начальства спросится за снятие постов, а они меня прижмут, потому что моя телефонограмма помешает им оправдаться.

Я не говорил тебе раньше — щадил твое самолюбие, а теперь скажу. Карзубый, никто из заключенных не беспокоился о тебе. Никто тебе ничего не передавал. Хлеб, сахар, махорку заделал тебе я, и добавки баланды тебе тоже по моему приказу дали, чтобы ты отъелся и, набравшись сил, отвечал на мои вопросы.

Стыд обжег Карзубого. С ним играли, а он поверил, черт противный. Он встал и двинулся на опера.

— Уйди, падла, уйди, сука, задущу, паскуда!

Когда Карзубый сидел в углу, то опер не видел, как тот выглядел. Теперь же Карзубый был рядом. И его вид поразил опера. Перед ним стоял почти незнакомый человек — высохший, с безжизненно заострившимся лицом. Он ругался, но так тихо и неразборчиво, что опер с трудом понимал его.

Карзубый схватил опера за горло, но, поняв, что у него не хватит сил сжать руки, выругался еще раз и плюнул оперу в лицо.

Опер повернулся и вышел.

Если стены между камерами были тонкие, то можно было, приложив кружку к стене и прижавшись к ней ухом, услышать разговор в соседней камере. Стены пересылки, где находился Карзубый, были сделаны на манер крестьянских домов: из одного ряда бревен. Бревна растрескались и хорошо проводили звук.

Карзубый знал о слышимости в этой тюрьме. Из соседней камеры до него доносились гул и отдельные выкрики. Еще до прихода опера он хотел развлечься: послушать, что они там делали. Может быть, в последний раз в жизни у него была возможность услышать, что говорили люди.

Но с утра он уселся в противоположном углу, и ему было тяжело заставить себя двигаться. В результате же стычки с опером, он переместился к стенке, из-за которой доносился шум. Кроме того, слова опера, что его никто не вспомнил, ранили Карзубого, и он надеялся, что шутки и смех других заключенных разгонят охватившее его ощущение одиночества.

Соседи, услышав, как стукнула дверь карзубовой камеры при выходе опера, начали говорить о нем. Когда Карзубый устроился с кружкой, он слышал часть разговора.

— Что ни говори, а Карзубый волк. Кишка не выдержала: Амбала из-за плитки шоколада убил и сам к ментам приполз.

Карзубый оторопел. Он же наврал на себя, что убил Амбала, и думал, что зеки поймут, зачем он врал. А они приняли его ложь за правду и осудили его.

Он должен объяснить им, что случилось в действительности. И он сделает это сейчас. Он расскажет соседям, те другим, — и доброе имя Карзубого будет восстановлено.

Стук, стук, стук — вызов на кружку.

Стук, стук, стук — вызов принят.

— Хлопцы, я Карзубый. Кто вы?

— Повтори громче.

— Я Карзубый.

— Да ты не шепчи, волк.

— Я Карзубый, — закричал он изо всех сил.

— Да ты, волк, не бойся ментов. Говори нормально.

Они не слышали его, а у него не было сил говорить громко... Но ничего. Он простучит им. Карзубый помнил тюремную азбуку. И он застучал, не отпуская уха от кружки.

— хлопцы. Я Карзубый. Кто вы? Отвечайте через кружку. Я вас слышу.

— Говори в кружку, волк. Не бойся. Здесь не стучат.

Игра слов. "Стучать" в лагере значило не только переговариваться через стенку, но и доносить. Вместе с обращением "волк" и предыдущими словами, что Карзубый приполз к ментам, эту игру слов можно было принять за намеренное оскорбление: "мы, мол, не такие, как ты, — мы не доносим". Но Карзубый не обижался. Не до обид было. Он снова застучал. Может, тот, кто был на кружке, не понимал азбуки, но в камере было много народа. Кто-то же должен понимать!

— Хлопцы, я не могу кричать. Отвечайте. Это важно.

Карзубый слышал, как они говорили между собой.

— Москвич, чего он там хочет?

— Да не поймешь ничего. Как говорит, так и стучит.

Ну, конечно, он стучал слишком быстро. Нужно медленней.

— Хлопцы. Кто вы? Отвечайте. Это важно!

И снова разговор в камере.

— Москвич, ну чего там?

— Непонятно. Не умеет он, путается.

У, кишка позорная, — выругался Карзубый, — сам, гад, не умеет, а на Карзубого валит.

Голос Москвича за стеной:

— Да бросьте вы с этим волком возиться. Скоро ужин будет. А на этой пересылке каша маслом пахнет. Только на Кировской кормят лучше.

И эки загалдели, вспоминая, какую кашу и баланду давали им в разных тюрьмах.

Карзубый выронил кружку. Козлы. Азбуки, шакалы, не

выучили. Теперь не сможет он правду в лагерь передать. И будут эки говорить, что Карзубый ради кишки товарища убил и к ментам на брюхе приполз. Всю жизнь он свое доброе имя берег. Ничего другого не было. А перед смертью ни за что, ни про что его лишился. Так и умрет он оболганный. Ужас от собственного бессилия охватил его.

— Помоги, — засипел Карзубый и, вспомнив, как молились верующие, опустился на колени. — Помоги...

Скоро он устал стоять на коленях. Он лег на нары и закрылся бушлатом.

Карзубого забрали на этап сразу после ужина. В боксике воронка, перебирая в памяти события последнего дня на пересылке, он вдруг припомнил слова опера, что Амбал убил мужика. В лагерях, — мелькнуло у него в голове, — об убийстве наверняка станет известно. Может быть, даже в ближайшие дни. И тогда все сами поймут то, о чем он безуспешно пытался сообщить соседям.

И от этой мысли он приободрился.

Во время расстрела, — мечтал Карзубый, — он поведет себя гордо. И слова этим волкам не скажет, и смотреть на них будет с презрением. Пусть видят, кто перед ними. Жаль только, — подсадовал он, — эки никогда не узнают, как умирал Карзубый.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава первая. Обыск	5
Глава вторая. Побег	20
Глава третья. Следствие	52
Глава четвертая. Пересылка	80

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "ТРЕТЬЯ ВОЛНА"
проза, воспоминания, альманах "Третья волна" №№13,14

1. Владимир Марамзин. "Смешнее чем прежде". Повести и рассказы, 158 стр. 9.00
2. Михаил Хейфец. "Место и время". (Еврейские заметки), 208 стр. 10.00
3. Борис Бажанов. "Воспоминания бывшего секретаря Сталина", 320 стр. 17.50
4. Юрий Мамлеев. "Изнанка Гогена". Рассказы, 96 стр. 6.00
5. Александр Глезер. "Человек с двойным дном" (Книга воспоминаний", 437 стр. 15.00
6. Сергей Довлатов. "Соло на ундервуде" (Записные книжки", 47 стр. 4.00
- 7 Евгений Козловский. "Красная площадь". Повесть и рассказ, 198 стр. 8.00
- 8.. Евгений Козловский. "Мы встретились в раю..", Роман, 313 стр. 17.50
9. Юрий Фельштинский. "Солженицын и социалисты", 47 стр. 4.50
10. Вячеслав Сысоев. "Ходите тихо, говорите тихо". (Записки из подполья), 96 стр. 7.00

11. Альманах литературы и искусства "Третья волна" №13,
96 стр. 6.00
12. Семен Резник. "Дорога на эшафот". Научно-историческая
повесть об академике Н. Вавилове, 128 стр. 8.00
13. Альманах литературы и искусства "Третья волна" №14,
96 стр. 6.00
14. Михаил Яacobсон. "Карзубый". Лагерная повесть, 96 стр.
. 6.50
15. Юрий Гальперин. "Играем блюз". Повесть, 96 стр. . 7.00

Заказы направлять по адресу:

**Russica Book Shop
799 Broadway, NY 10003**

ПОЭЗИЯ

АЛЬМАНАХ "ТРЕТЬЯ ВОЛНА" №№ 11–12

1. Евгений Кропивницкий. "Печально улыбнуться", 46 стр.
. 3.00
2. Генрих Сапгир. "Сонеты на рубашках", 44 стр. 5.00
3. Игорь Бурихин. "Мой дом – слово", 23 стр. 2.00
4. Александр Глезер. "Ностальгия", 73 стр. 5.00

5. Александр Глезер. "Неверный март", 32 стр. 2.00

6. "Третья волна", альманах, (иллюстрированный) .

№1, 1976 4.00

№2, 1977 5.00

№3-4, 1978 6.00

№5, 1979 4.00

№6, 1979 6.00

№7-8, 1979 6.00

№9, 1980 5.00

№10, 1980 5.00

№11, 1981 5.00

№12, 1982 6.00

Заказы направлять по адресу:

Alexander Glezer
286 Barrow Street,
Jersey City, NJ 07302

ВПЕРВЫЕ ПО-РУССКИ

В ближайшее время в издательстве "Третья волна" выходит роман Сергея Юрьенена "Вольный стрелок". Книга эта, уже опубликованная в Париже на французском языке, вызвала восторженные отклики у критиков. Вот некоторые из них:

"Прекрасный и сильный роман, мастерски написанный... Роман настолько глубинно русский, что чувствуешь: каждый изгнанник оставляет там половину души... В нем есть ритм, есть стиль, есть с в о й стиль..."

"Монд"

"Мощное воображение Сергея Юрьенена причисляет его к списку великих русских имен. Под его пером оживают белые грибы, малина и черника, бесконечная ночь, исчерченная падающими звездами, листья ольхи, еще покрытые утренней росой, вся глубинная суть Матери-России, впитывающей всеми своими нервами того, кто собирается ее покинуть. Точно так же Юрьенен проникает в человеческие судьбы, заверченные круговоротом секса и водки... Первый роман Сергея Юрьенена... это великая книга."

"Фигаро"

"Мы полагали, что нам известны все грани интеллектуального бунта в Советском Союзе. Сергей Юрьенен... добавил еще одну: диссидентство как форма любви..."

Юрьенен — абсолютно зрелый романист. Он с равной свободой использует анализ и описание, диалог и эпическую форму. Он уверенно ведет нас за собой сквозь состояния души, близкие Достоевскому, через общество якобы бесклассовое, а в действительности иерархизированное, как двор короля Шарля V, через мозаику малых наций, которые все ненавидят своего общего хозяина до такой степени, что предпочитают иногда немецкий язык русскому. Книга наполнена скандалами и дебошами, достойными декадентского Запада.

Давно мы не встречались в области романа... с такой широкой и глубинной картиной одновременно системы и народа"

"Экспресс"

Объем книги — 320 стр. Цена — 17.50

Заказы направлять по адресу: Russica Book & Art Shop
Broadway, NY 10003



Автор книги родился в 1939 году в Москве. С 1958 по 1967 — политзаключенный. Работал лесорубом в лагерях Северного Урала. В 1971 году эмигрировал из СССР. С 1971 по 1978 год изучал историю по программам бакалавра и магистра искусств в Тель-Авивском и доктора философии в Миннесотском университетах. За эти годы участвовал в войне Судного дня, работал посудомоем, шофером, преподавателем в университете. В настоящее время работает в архиве Гуверского института. Опубликовал несколько статей по истории СССР в американских журналах. Повесть "Карзубый" является его первым художественным произведением. Она подготавливается к публикации на английском и других языках.